

Петер  
Асбьёрнсен  
НОРВЕЖСКИЕ  
СКАЗКИ



Свыше ста иллюстраций  
норвежских художников  
к тридцати четырем сказкам

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ







*P. Chr. Asbjørnsen.*

*Петер Кристен Асбьёрнсен  
(1812–1885)*

Петер Асбьёрнсен

# НОРВЕЖСКИЕ СКАЗКИ



творческое объединение  
Алькор

*Совместный проект издательства СЗКЭО  
и переплетной компании  
ООО «Творческое объединение «Алькор»*



Санкт-Петербург  
СЗКЭО

ББК 84(4)  
УДК 811.113.5  
А90

Первые 100 пронумерованных экземпляров  
от общего тиража данного издания переплетены мастерами  
ручного переплета ООО «Творческое объединение «Алькор»

Классический переплет выполнен  
из натуральной кожи особой выделки растительного дубления.  
Инкрустация кожаной вставкой с полноцветной печатью.  
Тиснение блинтовое, золотой и цветной фольгой.  
6 бинтов на корешке ручной обработки.  
Использовано шелковое ляссе, золоченый каптал из натуральной кожи,  
форзац и нахзац выполнены из дизайнерской бумаги  
с тиснением орнамента золотой фольгой. Обработка блока  
с трех сторон методом механического торшонирувания  
с нанесением золотой матовой полиграфической фольги горячим способом.  
Оформление обложки пронумерованных экземпляров  
разработано в ООО «Творческое объединение «Алькор»

А90 **Асбьёрнсен П. Норвежские сказки.** — Санкт-Петербург.: СЗКЭО, 2024, — 224 с.: ил.

Норвежские сказки, записанные и пересказанные Петером Кристеном Асбьёрнсеном (1812–1885), перевели на русский язык супруги Анна Васильевна Ганзен (1869–1942) и Петр Готфридович Ганзен (1846–1930). Сто четырнадцать рисунков в книге выполнили норвежские художники Петер Николай Арбо (1831–1892), Эрик Теодор Вереншёль (1855–1938), Ханс Фредрик Гуде (1825–1903), Карл Рейнгольд Калмандер (1840–1922), Теодор Северин Киттельсен (1857–1914), Винсент Столтенберг Лерхе (1837–1892), Ялмар Эйлиф Эммануэл Петерссен (1852–1928), Отто Людвиг Синдинг (1842–1909), Адольф Тидеманд (1814–1876) и Герхард Август Шнайдер (1842–1873).

© СЗКЭО, 2024

© Дизайн кожаного переплета. ТО Алькор

ISBN 978-5-9603-1074-1 (7БЦ)  
ISBN 978-5-9603-1075-8 (Кожаный переплет)

Асбьернсен  
**НОРВЕЖСКИЕ СКАЗКИ**



Перевод А. и Л. Танзен



## Предисловие

Ввиду того интереса, который возбуждает у нас в последние годы норвежская литература, является своевременным ознакомить русскую публику с народными норвежскими сказками, игравшими столь важную роль в истории развития молодой литературы норвежцев и признанными за «лучшие из существующих народных сказок» таким знатоком и ценителем этого рода народной литературы, как знаменитый собиратель немецких народных сказок Якоб Гримм.

Своим сохранением для потомства благодаря включению в письменную литературу народа норвежские сказки и народные предания и поверья обязаны двум друзьям, имена которых и останутся незабвенными в общей истории Норвегии, П. К. Асбьёрнсену и Й. Му<sup>2</sup>.

Оба они по самому происхождению своему с детства стояли близко к миру народной поэзии, жили с ним и впоследствии посвятили почти всю свою жизнь делу воспроизведения этого мира в родной литературе на пользу и оживление ее, а вместе с тем и на пользу лучших умственных сил народа, воспитывавшихся до тех пор на иностранных образцах.

Петер Кристен Асбьёрнсен, сын простого ремесленника, родился в Христиании в 1812 г. († 1885 г.), вырос в атмосфере, насыщенной сказками, преданиями и поверьями, — мать его была чрезвычайно суеверна, верила в привидения, в леших, гномов и пр. сверхъестественные существа. В то время вообще все низшие классы населения, даже в столице, были поголовно заражены суеверием. Асбьёрнсен рассказывает, например, в своих воспоминаниях, что в одном знакомом ему семействе нарочно ложились спать несколькими часами раньше других людей, «чтобы не беспокоить домового».

Много обогатилась также память Асбьёрнсена всякими преданиями и поверьями во время его охотничьих и рыболовных экскурсий, которым он отдавался с такой страстью подростком. Готовясь в университет, Асбьёрнсен познакомился с Му, подружился с ним, и дружба эта стала еще теснее, когда их связало общее увлечение собиранием и записыванием памятников народной поэзии и суеверий. Окончив университет и живя домашним учителем в провинции, Асбьёрнсен все свободное время бродил по окрестным селениям, пополняя свои материалы.

Энергичная, простая и благодушно-располагающая к себе личность собирателя, о котором датский писатель Гольдшмидт отзывался, что «стоило увидеть его, чтобы прийти в хорошее расположение духа», вероятно, немало

<sup>1</sup> В оформлении шмуцтитула использованы фрагменты обложки издания:

*Асбьёрнсен П. К. Норвежские сказки. — Санкт-Петербург : О. Н. Попова, 1899*

<sup>2</sup> В издании 1899 г. — «*Петеру Христену Асбьёрнсену и Юргену Мо*»; здесь и далее имена и фамилии, географические названия и т. п. приведены в соответствии с общепотребительной ныне нормой (*примеч. ред.*).



содействовала словоохотливости деревенских рассказчиков и рассказчиц и их готовности делиться с Асбьёрнсенем своими сведениями по части мира оборотней и всяких духов. Те же личные качества Асбьёрнсена запечатлелись и в мастерском изложении-пересказе им собранного материала. В изданном Асбьёрнсенем в сотрудничестве с Му первом собрании народных норвежских сказок (1842 г.) ярко сквозит также присущий норвежцам вообще<sup>1</sup> неистощимый здоровый юмор.

Йорген Му, сын крестьянина, родился близ Христиании в 1813 г. († 1882 г.). Своеобразная красота родных мест рано залегла в его душу, и он часто воспевал ее впоследствии. Его отличительными чертами были кротость и какая-то



A handwritten signature in cursive script, reading "Jørg. Moe". The signature is written in dark ink on a white background.

*Йорген Энгебретсен Му*

<sup>1</sup> Как «датский Мольер» Людвиг Хольберг, так и даровитейший юморист-сатирик Йохан Вессель — оба были норвежцами по рождению.

особенная твердая, спокойная уверенность, привлекавшие к нему всеобщие симпатии. На нем как бы отразилась окружавшая его с детства величавая, мирная горная природа.

Первоначальное образование Му получил в простой народной школе; когда же блестящие способности мальчика обратили на него особенное внимание, отец решил дать ему возможность подготовиться к поступлению в университет. Как и Асбьёрнсен, Му все свое свободное время посвящал изучению народной поэзии и собиранию ее памятников.

Асбьёрнсен и Му вообще так дружно работали вместе во имя любимой идеи, что заслуги их остаются нераздельными. Главное значение их труда было в том, что в нем впервые проявился неподдельный истинно национальный народный элемент, ставший сокровищницей, из которой молодая норвежская литература и стала черпать множество образов и колорит. Му справедливо высказал относительно собранных и пересказанных им с Асбьёрнсеном памятников народного творчества, что они составляют естественное развитие и продолжение древних северных саг. При ознакомлении с историей новейшей норвежской литературы значение трудов Асбьёрнсена и Му становится особенно очевидным. Изданные ими народные сказки немало содействовали пробуждению в 40-х годах в норвежцах национального чувства и стремления к утверждению в искусстве и в жизни родных народных элементов. В обществе пробудился живой интерес к народной поэзии, народной жизни и родной природе, вследствие чего и сюжеты для художественных произведений стали почерпаться из родного быта и истории. Таким образом, современная норвежская культура и в особенности литература глубоко обязаны обоим названным деятелям, и недаром такой крупный представитель современной норвежской литературы, как Бьёрнсон, высказал при чествовании Асбьёрнсена в 1870 г.: «Не будь тебя, немного бы вышло из меня». Эти же слова может применить к себе вся современная норвежская литература в совокупности.

Позже Асбьёрнсен издал уже самостоятельно новый сборник сказок и преданий, дышащий несколько более широким юмором, нежели первый, а затем издал «Собрание избранных норвежских сказок и преданий», которое мы и предлагаем в переводе нашим читателям. Большинство сказок этого собрания приводятся в пересказе самого Асбьёрнсена.

Сказки эти уже переведены на большинство европейских языков и везде пользуются большой любовью, о популярности же их на самой родине можно судить, помимо множества изданий, в которых они появлялись, по той готовности, с какой взялись иллюстрировать издание Асбьёрнсена лучшие художественные силы Норвегии, среди которых встречаются такие имена, как Тидеман, Вереншёлль и Синдинг. Благодаря содействию последних, к норвежским народным сказкам приложены одни из наиболее удачнейших и ярких по замыслу и колориту иллюстраций, вообще украшающих подобные издания.

*П. Ганзен*



### Сочельник в старину

Ветер свистел в ветвях старых лип и кленов, росших перед моими окнами; на улице крутила вьюга, небо совсем заволокло, и оно хмурилось так, как только может хмуриться у нас на севере декабрьское небо. И расположение моего духа было подстать погоде, хмурое. Был сочельник, первый, что мне предстояло провести вдали от родной семьи. Я, новоиспеченный офицер, надеялся было обрадовать своих стариков приездом на праздники и блеснуть перед нашими провинциальными дамами своим мундиром, но нервная горячка отправила меня в госпиталь, откуда я выбрался всего за неделю до праздников. Теперь я находился в столь восхваляемом периоде выздоровления. Я написал домой о высылке за мной Чалого и отцовской шубы, но письмо вряд ли могло дойти по назначению раньше второго дня праздников, лошади же мне можно было ожидать разве к Новому году. Товарищи мои все поразъехали из города, а знакомых семейств, где бы я мог приютиться, у меня не было. Правда, хозяйки мои, престарелые девушки, были очень радушны и любезны, заботливо ухаживали за мной в начале моей болезни, но от дам этих веяло такой глубокой стариной, что молодому человеку их общество не могло быть особенно по вкусу. Все их мысли вращались исключительно вокруг прошлого, все их рассказы, опять-таки вертевшиеся на прошлом города и городской жизни, всем содержанием своим и высказывавшимися в них наивными воззрениями отзывались стариной. Самый дом моих хозяек как нельзя больше гармонировал с их старомодными повадками. Это был один из старинных домов в Таможенной улице,



с глубокими оконными нишами, длинными мрачными коридорами и лестницами, темными комнатами и чердаками, где невольно думалось о домовых и привидениях; словом, дом, подобный тому, а может быть, даже тот самый, который описан Морицем Хансеном в рассказе «Старуха в капоре». К этому надо еще прибавить, что круг знакомых моих хозяек был крайне ограничен: замужняя сестра, да две-три скучные кумушки, вот почти и все постоянные их гости. Оживляющий элемент вносили хорошенькая девушка, дочка сестры, да несколько резвых бойких малышей, детей брата, которые вечно требовали от меня сказок и историй о привидениях.

Я пытался развлечься в своем грустном одиночестве, разглядывая людей, сновавших в эту вьюгу по улице с багровыми носами и прищуренными глазами. Мало-помалу меня начала забавлять эта суета и оживление, царившие в расположенной напротив аптеке.

Дверь ни на минуту не оставалась в покое, то впуская, то выпуская народ. Слуги и посетители из простонародья, выходя на улицу, начинали иногда изучать сигнатурки<sup>1</sup>. Иным удавалось проникнуть в их смысл; другие



<sup>1</sup> Сигнатурка, сигнатура — здесь: ярлык к лекарству (примеч. ред.).

продолжительным раздумьем и многозначительным покачиваньем головы давали знать, что задача оказалась слишком мудреной. Смеркалось. Я перестал уже различать лица, но продолжал вглядываться в старинное здание аптеки, его мрачные буро-красные стены, крышу щипцом, башенки с флюгерами и оконца в оловянных переплетах, — памятник архитектуры времен Христиана IV. Только аптечный лебедь, служивший вывеской, по-видимому, не менялся; он и в те времена отличался такой же солидностью, как теперь: на шее золотой обруч, на ногах сапоги со шпорами, а крылья распростерты для полета. Я только что собирался погрузиться в созерцание пленной птицы, как меня вывел из задумчивости шум и детский смех в соседней комнате и слабый «девичий» стук в дверь моей комнаты.

После моего «войдите» на пороге показалась старшая из хозяек, иомфру<sup>1</sup> Метте. Присев по старинному, она сначала осведомилась о моем здоровье, а затем с разными церемонными предисловиями и оговорками предложила не побрезговать провести сегодня вечерок с ними.

— Нехорошо вам сидеть тут, в темноте, одному, милый господин лейтенант! — прибавила она. — Не сойдете ли вы к нам сейчас же? Тетушка Скау и братнины девчурки уже здесь. Они, может быть, немножко рассеют вас; вы ведь такой охотник до веселых ребятишек!

Я последовал радушному приглашению. Когда я вошел в комнату, она была освещена только неровным дрожащим отблеском огня, пылавшего в большой четырехугольной чугунной печке с настезь открытой дверцей. Комната была очень глубока и обставлена старинной мебелью: кожаными стульями с высокими спинками и диванами, рассчитанными на кринолины. Стены были украшены масляными картинами и портретами вытянутых в струнку дам в пудренных париках, королей Ольденбургского дома и других именитых персон в латах или красных кафтанах.

— Уж извините, господин лейтенант, что мы еще не зажгли свечей! — сказала, встречая меня таким же старомодным книксеном, иомфру Цецилия, младшая сестра, которую запросто звали тетужкой Цилле. — Но ребятишки любят повозиться в сумерки у огонька, а тетужка Скау тоже не прочь поболтать в уголку у печки.

— Поболтать! Ах ты! Да ты сама бываешь рада-радешенька проболтать хоть целый час в сумерках вместо того, чтобы шить при огне, а сваливаешь с больной головы на здоровую! — ответила старая, страдающая одышкой дама, которую величали тетужкой Скау.

— Ну, здравствуйте, батюшка мой, присаживайтесь к нам да расскажите нам, как живете-можете. Вы, право слово, попустили с себя жирку-то! — обратилась она ко мне и закинула голову, гордясь собственным дородством.

<sup>1</sup> Девица; ныне наименование для девушек простого сословия (более изысканное наименование — фрекен), в старину же применялось ко всем незамужним женщинам вообще (*примеч. переводчика*).



Пришлось рассказать о своей болезни и взамен выслушать подробное длинное повествование о ее недугах — ревматизме и одышке. К счастью, рассказ был прерван шумным возвращением ребятишек из кухни, куда они ходили в гости к старой Стине, составлявшей как бы часть домашней обстановки.

— Тетя, знаешь, что Стина говорит? — закричала одна бойкая черноглазая малютка. — Она говорит, что возьмет меня с собой на чердак, отнести домовому рождественскую кашу. Я не хочу, я боюсь домового!

— Ну, Стине просто захотелось выпроводить вас. Она и сама-то, глупая, боится идти на чердак впотьмах; раз она уж до смерти напугалась домового! — сказала иомфру Метте. — Но что же вы не здорваетеесь с лейтенантом, дети?

— Ах, это ты! Мы тебя не узнали! Ты такой бледный! Мы так давно тебя не видали! — наперебой закричали дети, налетая на меня всей ватагой. — Теперь ты должен рассказать нам что-нибудь забавное, ты так давно не рассказывал нам! Расскажи про Масляного козла, про Золотозуба! — Делать нечего, рассказал им и про Масляного козла, и про собаку Золотозуба, и в придачу еще несколько историй о домовых: о двух домовых, которые таскали друг у друга сено и вдруг столкнулись — каждый с ворохом чужого сена на спине, схватились, так что клочья полетели, и, наконец, исчезли в целом ворохе сена, и о домовом, дразнившем цепную собаку, пока хозяин не бросил его через мост в овин. Дети хлопали в ладоши и хохотали.

— Так ему и надо, негодному! — заявили они и потребовали новых сказок.

— Нет, вы уж очень надоедаете господину лейтенанту! — сказала иомфру Цецилия. — Теперь пусть рассказывает тетя Метте.

— Да, да, расскажи, тетя Метте! — завопила детвора.

— Не знаю право, что рассказать-то! — отозвалась иомфру Метте. — Ну да уж раз начали про домовых, так и я что-нибудь расскажу о них. Вы помните, дети, старую Карри Гусдаль, которая пекла такие вкусные лепешки и знала столько сказок и разных историй?

— Да, да! — закричали дети.

— Ну так вот, она рассказывала, что давно-давно когда-то служила в Сиротском доме. В те времена на том конце города было еще пустынное и глуше, чем теперь, а Сиротский дом был таким же мрачным, угрюмым зданием. Карри пришлось быть там стряпухой. Девушка она была работящая, аккуратная, и вот раз надо было ей встать пораньше ночью затереть солод для пива, а другие девушки ей говорят с вечера: — Ты смотри, не вставай больно рано; раньше двух часов не затирай солода. — Отчего? — спросила она. — Да оттого, что тут есть домовый, а ты знаешь, они не любят, когда их спозаранку тревожат. Так раньше двух часов и не шевелись.

— Вот еще! — сказала Карри; она была такая бойкая. — Дела мне нет до вашего домового, а если он сунется ко мне, я — пусть тот-то и тот-то возьмет меня — вышвырну его за дверь!

Другие стали ее уговаривать, но она осталась при своем, и чуть погодя после того, как пробил час, вскочила, развела огонь под пивным котлом и затерла солод. Но огонь то и дело погасал, точно кто расшвыривал поленья по печке. Уж сколько раз она собирала поленья в кучу, не горит да и только, да и все дело не спорится. Надоело ей это; как схватит она головню и давай крестить ею и по полу, и над головой, приговаривая:

— Пошел откуда пришел! Думаешь, я испугаюсь тебя? Как бы не так!

— Тьфу ты! — послышалось из самого темного угла кухни. — Семь душ заполучил тут в доме, думал, и восьмая моей будет! — С тех пор и видом не видать, и слухом не слышать было там домового, — рассказывала Карри Гусдаль.

— Мне страшно! Нет, лучше ты рассказывай, лейтенант. У тебя все такие забавные сказки! — сказала одна из малюток, а другая предложила мне рассказать про домового, который плясал с девушкой. Мне это не очень-то улыбалось, так как в ту сказку входило пение. Но ребяташки ни за что не хотели отстать от меня, и я уже принялся откашливаться, чтобы настроить свое в высшей степени немзыкальное горло, как вдруг, к радости детей и на мое счастье, явилась та самая хорошенькая племянница, о которой я говорил выше.

— Ну, дети, я буду рассказывать, если кузина Лиза согласится спеть для вас мотив халлинга!<sup>1</sup> — сказал я, пока девушка усаживалась. — А вы сами протанцуете; так?

Кузина, атакованная мелюзгой, обещала исполнить плясовую музыку, и я начал рассказ.

— В одном местечке, пожалуй, даже в самой Халлинг-долине, жила была одна девушка, и ей надо было снести домовому угощение — молочную кашу.



<sup>1</sup> Старинный народный норвежский танец (примеч. переводчика).

Не помню, был ли это обыкновенный четверговый вечер или сочельник; кажется, что сочельник. Ну вот, и покажись ей, что не стоит отдавать домовому такую вкусную кашу, она и съела ее дочиста сама, а домовому понесла овсяного киселя с кислым молоком в поросячьем корыте.

— Вот тебе твое корыто, негодный! — сказала она, а домового тут как тут, схватил ее и давай плясать с нею халлинг. Закрутил до того, что она грохнулась и захрипела! Поутру пришел в овин народ — она лежит ни жива ни мертва. А домового, пока плясал с нею, пел...

Тут иомфру Лиза запела за домового на мотив халлинга:

Так ты кашу домового съела,  
Попляши же с домовым!  
Так ты кашу домового съела,  
Попляши же с домовым!

Я со своей стороны отбивал такт ногами, а дети с криком и топанием кружились по комнате.

— Право, вы весь дом вверх дном перевернете! В голове отдается, так вы топаете! — сказала тетушка Скау. — Посидите смирно, а я вам расскажу что-нибудь.

Дети утихли, и тетушка Скау приступила к рассказу.

— Много ходит рассказов про домовых, да про лесных дев и тому подобную чертовщину, но я не очень-то им верю. Я на своем веку ничего такого не видала — хоть и то сказать, немного где и бывала — и думаю, что это все одни басни. Но вот старуха Стина говорит, что видела домового. Когда я еще готовилась к конфирмации, она служила у моих родителей, а к ним поступила от одного шкипера, который уже перестал ходить в море. В доме у шкипера было так тихо, мирно; хозяйева сами никуда не ходили и к себе гостей не водили; сам шкипер выходил разве только на пристань. Спать ложились в доме рано, чтобы дать покой домовому. «И вот раз вечером, — рассказывала Стина, — сидим мы с кухаркой наверху, в девичьей, шьем да штопаем кое-что на себя. А время уже позднее, спать пора; сторож десять пропел<sup>1</sup>. Работа у нас не спорилась, — Джон Дремовик<sup>2</sup> мешал; то я клюну носом, то она; встали-то рано, да стирали все утро. Вдруг слышим — внизу, в кухне, страшный грохот. Я как крикну: «Господи помилуй! Ведь это домового!» И так я испугалась, что в кухню — ни за что. Кухарка тоже струсила, но потом собралась с духом, пошла в кухню, я за нею; глядь — вся посуда на полу, только ничего не разбито, а домового стоит в дверях в красном своем колпачке и заливается-хохочет».

<sup>1</sup> Сравнительно не так давно в скандинавских странах сохранялся еще старинный обычай, что ночные уличные сторожа ежечасно пели стихи, приноровленные к каждому часу, начиная с десяти вечера, «часа отхода ко сну».

<sup>2</sup> Дух сна, соответствующий датскому Оле-Закрой глазки, описанному в сказке Андерсена (*примеч. переводчика*).





*«...вся посуда на полу, только ничего не разбито,  
а домовой стоит в дверях в красном своем колпачке и заливается-хохочет».*

Стина слыхала, что домового можно иногда выманить из дому в другой, если попросить его честью, да сказать, что в другом месте ему будет спокойнее, вот она и стала подумывать, как бы надуть домового. Наконец и сказала ему, — а у самой голос дрожит, — что ему следует перебраться к меднику, напротив; там спокойнее, все ложатся спать в восемь часов вечера. «Это было правда, — говорила Стина мне, — да зато работа-то у них начиналась с трех часов утра, и день-деньской шла стукотня да грохотня. Однако с тех пор домового больше не слыхали. У медника ему, должно быть, понравилось, хоть они и стучали там целый день. Поговаривали, что хозяйка каждый четверг носила ему на чердак кашу. Так немудрено, что они стали богатеть, — домовому жилось хорошо, он и тасил к ним добро!» Что правда, то правда; медник с женой разбогатели; только был ли тут домовой при чем — не знаю! — прибавила тетушка Скау и закашлялась от напряжения, которого потребовал от нее такой необычно длинный рассказ.

Понюхав табачку, она ожила и начала снова.

— Матушка моя была женщина правдивая. Так вот она рассказывала историю о том, что раз случилось здесь в городе в ночь на Рождество. И я знаю, что так оно и было; матушка слова неправды не говорила никогда.

— Расскажите же, мадам Скау, — попросил я.

— Расскажите, расскажите! — подхватили дети.

Толстуха откашлялась, взяла еще понюшку и начала:

— Когда мать моя была еще девушкой, она хаживала к одной знакомой вдове — как бишь ее звали? Мадам... да, мадам Эвенсен! Она была уже пожилых лет, а где жила, не припомню; не то в Мельничной улице, не то на углу у Церковной горы — наверно не могу сказать. Раз, тоже вот в сочельник вечером, она и решила пойти к заутрене, — богомольная была женщина, — и с вечера же все приготовила, чтобы сварить поутру себе кофе — напиток горяченького перед тем, как идти в церковь. Проснулась она — месяц глядит в окно. Встала посмотреть на часы, глядь, они остановились, и стрелка показывает половину двенадцатого. Так она и не узнала, который час, но подошла к окну, взглянула на церковь — все окна освещены. Тогда она разбудила девушку, велела ей сварить кофе, пока она оденется, потом взяла свой молитвенник и отправилась. На улице было тихо-тихо; ни одного человека не попалось по дороге. Пришла в церковь, села на свое место и огляделась кругом. Все люди показались ей ужасно бледными и какими-то странными, — точно мертвецы! Ни одного знакомого, но некоторых она как будто встречала когда-то прежде. Вот на кафедру взошел священник, тоже чужой; высокий, бледный человек; и его она тоже где-то видела раньше. Говорил он очень хорошо, и в церкви не было обычного шума, покашливания, отхаркивания, как всегда во время утренней рождественской проповеди. Стояла такая тишина, что, кажется, упади иголка на пол, слышно было бы. Вдове даже жутко стало от этой тишины.

Когда все в церкви снова запели псалмы, женщина, сидевшая рядом с нею, нагнулась и шепнула ей:





— Набрось на себя салоп, только не застегивайся, и выходи. Если ты останешься до конца, тебе несдобровать. Это мертвецы служат заутреню.

— У! Как страшно! Я боюсь, тетушка Скау! — запищала одна из девочек и вскарабкалась на стул.

— Ш-ш, детка! Она отделалась благополучно; сейчас услышишь! — сказала тетушка Скау и продолжала:

— Вдова перепугалась; голос и лицо той показались ей знакомыми, и, взглядевшись, она признала в ней соседку по дому, умершую несколько лет тому назад. Огляделась она кругом и припомнила, что и священника и многих из прихожан действительно встречала раньше, но что все они давно умерли. Ее даже дрожь проняла от страха. Она слегка набросила на плечи салоп, как посоветовала соседка, и пошла; но ей показалось, что все обернулись, кинулись за нею вслед, и под ней чуть ноги не подкосились. Уже выйдя на паперть, она почувствовала, что ее тянут за салоп; она выпустила из рук полы и оставила салоп в руках у тех, а сама со всех ног кинулась домой. Когда она добралась до дверей, часы пробили час, и она вошла к себе полумертвая от страха. Утром люди пришли в церковь — салоп лежит на лестнице, разорванный в клочья. Мать моя много раз видела его до того, да, кажется, видела и один из клочков. Это, впрочем, все равно; салоп был короткий, из розовой материи,

на заячьем меху и с заячьей опушкой, какие носили, когда я была девочкой. Теперь такой редко на ком увидишь, но на Рождестве я, случается, еще вижу в церкви такие салопы на некоторых старухах из здешних горожанок или из богаделенок.

Дети, жавшиеся в кучу и взвизгивавшие во время конца рассказа, объявили, что больше не хотят слушать таких страшных историй, и полезли на диван и на стулья, говоря, что под столом кто-то есть. В эту самую минуту внесли свечи в старинных канделябрах, и при общем смехе открылось, что ребяташки сидят, положив ноги на стол! Свет, рождественские лакомства, печенье и вино скоро разогнали страх, оживили настроение и перевели разговор на ближних и на злобы дня. Наконец подали рисовую кашу, жареную грудинку, и мысли обратились к более солидным предметам. Разошлись рано, пожелав друг другу веселого Рождества.

Я, однако, провел тревожную ночь. Не знаю, что было причиной, рассказы ли, угощение ли, или моя общая слабость, или все это вместе, только мне всю ночь снились домовые, лесные девы и разные привидения. Под конец я увидел, что лечу в церковь по воздуху в санях с бубенчиками. Церковь освещена; я вхожу и вижу, что нахожусь в нашей деревенской церкви. Кругом все «дели»<sup>1</sup> в своих красных колпаках, солдаты в парадной форме и краснощекие деревенские девушки в своих белых полотняных головных уборах. Пастор стоит на кафедре. И это мой дед, который умер, когда я был мальчиком. В самой середине проповеди он вдруг одним прыжком — он был весельчак — оказывается на самой середине церкви, ряса летит в одну сторону, плоенный воротник в другую, и он, указывая на них, восклицает свою обычную фразу: «Вот он где пастор-то, а здесь я! А ну-ка, в пляс!» Тут вся паства неистово закружилась, завертелась, а какой-то долговязый «дель» подошел, тряхнул меня за плечо и говорит: «И ты валяй с нами, парень!»

Я не знал, что подумать, когда, проснувшись вслед за тем, почувствовал, что меня в самом деле кто-то держит за плечо, и увидал у постели нагнувшегося ко мне верзилу в дельской шапке, надвинутой на уши, и с шубой, перекинутой через плечо. Он пристально глядел на меня своими большими глазами.

— Приснилось, видно! — сказал он. — Весь лоб в поту, а сам спал крепче медведя в берлоге! Отец и все твои кланяются и поздравляют с праздником. Вот и письмо от судьи и шуба тебе, а Чалый во дворе ждет.

— Да ведь это ты, Тор! — радостно воскликнул я, узнав отцовского работника, молодчину «деля». — Но как же ты попал сюда?

— А вот сейчас скажу! — ответил парень. — Приехал я на Чалом. Мы с судьей ездили на мыс; он и говорит мне: «Тор, — говорит, — тут недалеко до города; бери, — говорит, — Чалого, да поезжай за офицером; коли здоров, пусть едет с тобой; забери его», — говорит!

<sup>1</sup> *Дель* — обитатель долины; от слова *Dal* — долина.





*Уже выйдя на паперть, она почувствовала, что ее тянут за салоп...*





Когда мы выезжали из города, погода опять была ясная и путь чудесный. Чалый бойко вскидывал своими старыми крепкими ногами, и так весело справлять святки, как я справил их дома на этот раз, мне никогда не доводилось ни прежде, ни после.



### Два мальчугана и три тролля<sup>1</sup>

В Гудбранд-долине жили в старину бедняки, муж с женой. Ребят у них была куча, и двух сыновей-подростков приходилось посылать побираться по соседству. Мальчуганы знали как свои пять пальцев все окрестные дороги и тропинки.

Раз собрались они в долину Ге, но пошли туда в обход, по тропинке, через болота, — им хотелось по пути заглянуть в хижину к птицеловам-соколыщикам, посмотреть на соколов и поглядеть, как ловят птиц. Дело было поздней осенью, и все пастухи и пастушки уже вернулись из гор со своими стадами, так что в горах мальчуганам нечего было надеяться найти приют или поживу. Вот и побрели они в долину Ге, куда вела песчаная тропа, протоптанная скотом. Наступили сумерки, и мальчуганы сбились с тропы, не нашли и жилья птицеловов и не успели оглянуться, как очутились в чаще Бьельстадского леса. Увидав, что им не выбраться скоро, они принялись срезать ветви, развели огонь и сколотили на скорую руку шалаш, — у них был с собой топорик; потом набрали мху да вереску и устроили себе подстилку для сна. Только улеглись, слышат — кто-то фыркает и сопит около. Мальчуганы насторожились:

---

<sup>1</sup> *Тролли* — олицетворение темных сил природы; различаются тролли лесные, горные, подземные, морские (*примеч. переводчика*).



кто бы это, зверь или лесной тролль? Тут засопело еще громче, и послышался голос:

— Чую христианскую кровь!

— Господи, спаси нас! Что нам делать? — сказал младший из братьев.

— Ты стой себе под сосной и готовься забрать наши суммы да удрать, когда завидишь их, а я возьму топор! — сказал старший.

В ту же минуту увидали мальчуганы троллей, таких толстых и огромных, что они головами хватали до верхушек сосен. Но у всех троих был только один глаз; они им пользовались по очереди. Во лбу у каждого была дырка, в нее-то они и вставляли глаз и придерживали его рукой. Тот, у кого был глаз, служил вожаком для остальных, которые держались за него.

— Улепетывай! — сказал старший младшему братишке. — Но недалеко; посмотри, что будет! Глаз у них сидит высоконько, так им и не увидеть, как я подкрадусь к ним сзади.

Вот младший давай бог ноги, тролли за ним, а старший забежал сзади них да как хватит топором последнего тролля по ноге. Тот взвыл благим матом и так перепугал вожака, что тот споткнулся и выронил глаз. А мальчуган не промах — хват! — и подобрал глаз; величиной он был с две чашки и такой светлый, что хоть кругом стояла темная ночь, мальчугану сквозь него светил ясный день.

Когда тролли поняли, что это мальчуган стащил у них глаз, да еще изувечил одного из них, они принялись грозить ему всякими бедами, если он сию же минуту не подаст им глаза.

— Не боюсь я вас, тролли, и ваших угроз! — сказал мальчуган. — У меня у одного три глаза, а у вас троих ни одного, да еще двоим надо тащить третьего.

— Если ты сейчас же не отдашь нам глаз, мы превратим тебя в дерево, в камень!

— Уж больно вы прытки! — сказал мальчуган. Его не испугать было ни хвастовством, ни колдовством, и он пригрозил им, если они не оставят его в покое, перерубить ноги всем троим, — пусть себе ползут тогда, как гадюки!

Тролли перетрусили и принялись всячески умасливать его, чтобы он отдал им глаз; обещали ему и золота, и серебра, чего хочет. Да, это дело другое! Но мальчугану все-таки было желательно сначала получить золото и серебро, он и объявил, что один из троллей должен сходить домой и принести столько золота и серебра, чтобы мальчуганы могли набить битком обе свои суммы, да еще два добрых стальных лука в придачу, — тогда и получают свой глаз.

Тролли разохались, — ни один не мог идти без глаза; потом один таки догадался, принялся звать свою жену. Немного погодя жена откликнулась из скалы, далеко к северу от того места. Тогда тролли крикнули ей, чтобы она пришла с двумя стальными луками и ведрами, полными золота и серебра. Она не заставила себя долго ждать, но как узнала, в чем дело, тоже принялась грозить мальчугану всяким колдовством. Но тролли были уже так напуганы, что стали



*В ту же минуту увидели мальчуганы троллей,  
таких толстых и огромных, что они головами хватали до верхушек сосен.*





упрашивать ее поостеречься, — чего доброго, этот скверный комар и у нее стащит глаз! Тогда она швырнула на землю луки, золото и серебро и помчалась домой с троллями. С тех пор никто и не слышал, чтобы тролли бродили по этому лесу да разнюхивали, не пахнет ли где христианской кровью.







### Рассказы охотника Матиаса<sup>1</sup>

В один прекрасный день, в субботу, в ноябре месяце 1886 г. пришел я к своему доброму товарищу, помещику в Нитте-долине. Давненько я не бывал у него, и так как он был не из тех людей, которые забывают старых приятелей, то мне пришлось у него и отобедать, и напиться кофе, что было очень кстати после двухчасовой прогулки из города. Только что отпили кофе, явились еще гости из пасторских домочадцев, и, по обычаю, подали пунш. Беседа так оживилась, мы так усердно прикладывались к чаркам, а я кроме того так загляделся на голубые глазки хозяйской дочки, что чуть не забыл об уговоре быть в воскресенье на охоте в Гьёрдруме. Солнце уже стало садиться за скалы, и, если я хотел дойти до места прежде, чем люди успеют улечься спать, то нечего было и думать идти обычной, длинной дорогой, сперва на церковь в Дале, потом лесом и плохой дорогой через болотистую луговину, которая теперь должна была быть еще хуже, кочковатее от ноябрьских холодов; я и пошел

<sup>1</sup> В переводе А. и П. Ганзен — «Рассказы охотника Матвея» (*примеч. ред.*).

на новую просеку в лесу, к ближайшей лесной хижине на горном кряже, повыше церкви. Там я захватил старика охотника Матиаса, а тот сейчас вызвался проводить меня ближайшей тропой через кряж. Сборы его были недолги: заложил за щеку жвачку — и готово.

Вечер выдался чудесный. На западе еще горела зимняя вечерняя заря. Легкий морозец сообщал воздуху ту приятную свежесть и чистоту, которые так красят у нас ноябрьские дни. От ручейка подымался пар и оседал инеем на деревьях, превращая ветви в серебряные кораллы.

Шли мы бойко, и у старика после доброго глотка из моей дорожной фляжки развязался язык.

Болтал он обо всем: об охоте и охотниках, о том, как несуразно выходит, что Оле Медник из коренных гьёрдурмцев позволяет себе вдруг ставить свои западни для птиц в Сольберге; потом он поведал мне о девяти медведях, которых он, Матиас, будто бы застрелил, и еще многое, — всего и не припомнишь.

Когда мы наконец спустились в долину, дневной свет совсем погас, только месяц, как раз вставший на горизонте, бросал свой неровный свет на вершины деревьев. Проходя мимо опустелой пастушьей хижины, мы наткнулись, должно быть, на свежий заячий след, так как собаки начали рваться с веревки.

— Ну, теперь держись, веревка! — сказал Матиас, изо всех сил сдерживая свору. — Тут что-то неладно.

— Пожалуй, ты прав, — сказал я. — Темновато, а будь луна повыше над лесом, вот залились бы!

— Да, да, пожалуй! — продолжал он, опасливо оглядываясь на горную площадку. — Но, говорят, лесная дева держится в этих местах в эту пору.

— Вот как! Уж ты не видал ли ее?

— Нет, в этих местах ни разу не случилось.

— А где же? — любопытствовал я. — Так ты вправду веришь в злых духов?

— Как же мне не верить, коли об этом в Писании сказано? — ответил он. — Когда Господь низверг с неба падших ангелов, некоторые угодили в самый ад. Но те из них, которые были не так уж грешны, остались в воздухе, в воде и под землей. Да и я сам часто слышал и видал кое-что в лесах и в полях.

— Так Расскажи же, Матиас! Дорога дальняя! — попросил я.

— Коли хотите, расскажу! — И Матиас начал: — В первый раз, как мне пришлось познакомиться с лесной девой, было мне всего лет восемь-девять, а случилось это на большой дороге между Бьёрке и Му. Я шагал по дороге, — отец куда-то послал меня, — вдруг, посреди болота направо от дороги, вижу, идет девушка, красивая такая. Вот как сейчас гляжу на нее. Светло тоже было, как теперь. На ней была темная юбка, на голове светлый платок, и такая она была красивая! А шла себе посередине болота, точно и дела ей не было ни до трясины, ни до окон. Я все смотрел на нее, пока шел по дороге; потом мне пересек дорогу горный кряж и закрыл ее от меня. Тут мне и пришло в голову,

что неладно же человеку шлепать по болоту; надо взойти на кряж и окликнуть ее, сказать, что она сбилась с дороги. Я взобрался на кряж — ан впереди только один месяц, да на болоте вода поблескивает. Тут-то я и сообразил, что это была лесная дева.

Хотя мне лично и сдавалось, что тут можно было допустить и иные предположения, я предпочел оставить их про себя, предвидя, что мои доводы не поколеблят веры Матиаса, а только завяжут ему рот, и я лишь спросил его, не видал ли он еще чего-нибудь в этом роде.

— Еще бы! Чего-чего я не навидался, не наслыхался тут в лесу и в поле! — сказал Матиас. — Не раз слышал, как тут кто-то клялся, лопотал, пел; слышал и такую чудесную музыку, что и не описать. А раз я пошел на тетеревов — так, должно быть, в конце августа, потому что черника уж поспела, и брусника чуть покраснелась, — и сижу возле самой тропинки меж кустов, так что мне всю тропинку видно и еще небольшую ложбинку в кочках да в вереске; там же внизу было много темных овражков. Вот слышу, тетерка закудаhtала в вереске, я начал подсвистывать и думаю: «Только бы ты показала, тут тебе и конец». Только вдруг слышу позади себя на тропинке шорох какой-то. Оглянулся — по тропинке двигается старик и — такое чудо! — как будто с тремя ногами, — третья-то болталась между двумя другими. И сам он не шел, а точно плыл по тропинке; плыл-плыл и скрылся в одном из овражков. Я сейчас же догадался, что не я один видел его: из-за кочки выглянула тетерка и, вытянув шею и наклонив голову набок, начала подозрительно коситься в ту сторону, где скрылся старик. Но я тут зевать, конечно, не стал, живо приложился и — бац! Она растянулась и забила крыльями.

Да, так-то было дело. А еще раз — случилось это в самый сочельник, вскоре после того, как я видел лесную деву на болоте, у большой дороги — мы с братьями катались на салазках и валяли снегура возле маленькой горки, а место то было, скажу я вам, не совсем чистое. Вот, играем мы, возимся, как все ребятишки; свечерело уже; младший братишка, — ему было так года четыре-пять, не больше, — пуще всех визжал и хохотал от радости. Вдруг в горке как заговорит: «По домам пора!» Как бы не так! Мы остались; по нашему было еще рано. Только немного погодя опять слышим: «Живо по домам!» «Слушайте, — говорит младший братишка, — ума-то у него только на это и хватило. — Вон, в горе говорят, что нам домой пора!» А мы себе опять как будто не слышим, возимся. Но тут в горе так рявкнуло, что у нас в ушах зазвенело: «Пошли домой сию минуту, не то я вас!» Мы как зададим стрекача, одним духом до дверей домчались.

Еще раз, — но это было уж долго спустя, все мы уж выросли, — в воскресенье, на заре, приходим с братом домой; мы ночью рыбу ловили. Слышим, собаки так и заливаются на Солбергском лугу; там было много собак. Я очень устал, пошел и завалился спать, а брат сказал, что погода больно хорошая, и ему хочется пойти послушать собак. Только лай-то вдруг сразу точно оборвался. Брат двинулся дальше, — думал, что, может быть, увидит зайца или



спугнет его. Дошел до пня, глядь, перед ним по ту сторону болота красное здание, большое, красивое; только все окошки кривые, и двери тоже. Удивился он: кажется, все эти места как свои пять пальцев знает, и вдруг — такое здание! Брат вздумал перейти болото, чтобы заглянуть в дом, — народу там не было видно — а потом пойти за мной.

— Эх, жаль, — сказал я, — что он не перебросил кусочек стали<sup>1</sup> или не выстрелил через здание, — ружье-то у него, верно, было с собой. А то, когда вы собрались вернуться, вероятно, все уже исчезло?

— То-то вот! — отозвался Матиас. — Будь я на его месте, я бы сейчас выстрелил прямо в этот самый дом, а брат совсем растерялся. И вот послушайте, дальше еще хуже вышло. Когда брат добрался до середины болота, он попал в такую толпу, что еле мог протискаться. Все были без курток и все шли на север. Но брат дальше холма не добрался, — они сбили его с ног, и он так и остался на месте до вечера, когда сестры погнали домой корову. Глядят — он лежит, кулаки сжаты у самого носа, и весь синий, а на губах пена. Перепугались они здорово, приволокли его домой, положили на лавку и позвали меня.

Взглянул я — вижу дело плохо. Одно только оставалось: снял я со стены ружье заряженное и дал выстрел вдоль над братом. Он и не шевельнулся, лежит пластом, как мертвый.

«Ну, — думаю себе, — надо взяться по-иному». — Пособите, девки! — говорю сестрам. — Надо положить его туда же, откуда взяли, иначе толку не будет. — Так мы и сделали, положили его у холма, и я во второй раз выстрелил над ним. Ну тут, небось, очухался! С места вот не сойти — вскочил, как будто что его подняло! Выпучил глаза и глазееет вокруг, как шальной; мы даже испугались. Привели его домой, а ему все не лучше, и такой стал дурной, что не поверите. Встанет и стоит, выпучив глаза, точно они у него выскочить хотят. Ни он займется чем-нибудь, ни он поговорит о чем; разве уж с ним заговорят. Испорчен он, значит, был. Ну, потом все-таки помаленьку сошло с него; тогда он и рассказал нам, как все было. Так вот чего я навидался! — заключил Матиас.

— А домового ты никогда не видал? — спросил я.

— Как не видать! — убежденно ответил Матиас. — Это еще было в нашем доме, в Ласкеруде, у отца с матерью; у нас водился домовый. Раз, мы ребята уж полегли все, а старику работнику понадобилось выйти зачем-то во двор. Месяц светил вовсю; глядит — на овинном мосту сидит парнишка и болтает ногами, глядя на месяц; так загляделся, что и не видал работника. — Иди домой, спать ложись, Матиас! — говорит работник; он думал, что это я. — Нечего сидеть тут, выпуча глаза на месяц; поздно уж! — Глядь, а парнишки и нет. Пришел он домой, — я храплю давно.

<sup>1</sup> Чтобы разрушить колдовство, как то следует по народному поверью (*примеч. переводчика*).



А в другой-то раз я сам видел его. Я тогда уж подтвержден был. В субботу, после обеда, ездил я в город за досками и вернулся этак чуть навеселе. Пришел и лег. К вечеру встал, поел немножко, — в голове еще шумело. Отец и говорит мне: «Ты прежде чем опять спать завалиться, задай на ночь корму Буланке. Других никого дома нет; гуляют».

Я сперва заглянул в конюшню к Буланке; он тихонько ржал; потом полез на сеновал взять охапку сена. Хвать, — сцапал два длинных уха, точно у собаки, а сейчас же увидал и два глаза, — словно угли горят... Так и впились в меня.







## Озе-Гусятница

Жил-был король, а у него было столько гусей, что надо было приставить к ним особую пастушку. Звали ее Озе; так и прозвали ее — Озе-Гусятница. А еще жил-был английский принц, который странствовал по белу свету, чтобы найти невесту. Озе взяла да и села на дороге, где ему ехать.

— Это ты тут сидишь, крошка Озе? — спросил принц.

— Да, я; сию, заплатки кладу да поджидаю английского принца.

— Нечего тебе его ждать; не про тебя он, — сказал принц.

— Чему быть, того не миновать. Если ему быть моим, так и будет моим! — ответила Озе.

А во все страны и государства были разсланы живописцы списывать портреты с самых красивых принцесс, чтобы принц мог выбрать себе невесту. Вот одна ему понравилась, он посватался к ней и очень обрадовался, когда она согласилась стать его невестой. Но у принца был камень, который всегда лежал у него возле кровати и знал все на свете. И вот, когда принцесса явилась, Озе-Гусятница сказала ей, что если у нее когда-нибудь раньше был другой жених, или если вообще за ней что-нибудь водится, чего она не хочет выдать принцу, то она не должна переступать через камень, который лежит перед кроватью.

— А то камень все расскажет принцу! — сказала Озе.

Закручинилась принцесса и стала просить Озе, чтобы та вечером пошла лечь на кровать вместо нее. А когда принц заснет, придет настоящая принцесса и займет свое место. Так и сделали. Когда Озе-Гусятница вошла в спальню и наступила на камень, принц спросил: — Кто входит сюда? — и камень ответил: — Чистая, невинная девушка! — Ночью же пришла принцесса, а Озе ушла. Утром, когда пришло время вставать, принц опять спросил камень: — Кто уходит отсюда? — Бывшая невеста трех женихов! — ответил камень. Принц, как услышал это, не захотел такой жены, отослал ее назад домой, а сам посватался к другой.

Когда он ехал к ней, Озе-Гусятница опять уселась на дороге.

— Это ты тут сидишь, крошка Озе-Гусятница? — спросил принц.

— Да, я; сию, заплатки кладу да поджидаю английского принца.

— Ну, его тебе нечего ждать, не про тебя он! — сказал принц.

— О, чему быть, того не миновать! Если ему быть моим, так и будет моим! — возразила Озе.

И с этой принцессой повторилась та же история, с той лишь разницей, что у нее, как сказал про нее камень утром, перебивало шесть женихов. Принц прогнал и ее. Но решил все-таки попытаться еще раз найти чистую, невинную

девушку. Много стран пришлось ему проехать, пока он нашел себе невесту по сердцу. Когда же он отправился за нею, Озе Гусятница опять села на дороге.

— Это ты тут сидишь, крошка Озе-Гусятница? — спросил принц.

— Да, я; сию, заплатки кладу да поджидаю английского принца.

— Ну, его тебе нечего ждать! Не про тебя он! — отозвался принц.

— О, чему быть, того не миновать! Если ему быть моим, так и будет моим! — возразила Озе.

Когда принцесса явилась, Озе-Гусятница и ей сказала то же, что остальным: если у нее раньше были женихи, или за ней водится что-нибудь такое, чего она не хочет выдать принцу, то ей не следует переступать через камень, который лежит перед кроватью: «А то камень все расскажет принцу». Принцесса струсила, но хитростью и ее бог не обидел, как первых двух, и она тоже попросила Озе войти вечером в спальню вместо нее, с тем чтобы, когда принц заснет, вошла сама принцесса и заняла свое место. Так и сделали. Когда Озе-Гусятница вошла и наступила на камень, а принц спросил: «Кто входит сюда?» — камень ответил: «Чистая, невинная девушка». Ночью принц взял да и надел Озе на палец кольцо, и такое узкое, что она никак не могла снять его. Принц-то смекнул, что дело неладно, и хотел положить метку, по которой мог бы узнать свою настоящую суженую. Когда принц заснул, пришла принцесса и прогнала Озе в хлев, а сама заняла ее место. Утром, когда надо было вставать, принц опять спросил: «Кто выходит отсюда? — «Бывшая невеста девятирех женихов!» — ответил камень. — Принц так рассердился, что сейчас же выгнал невесту и спросил камень, что за история с этими принцессами; он понять ничего не может. Тогда камень и рассказал ему все, как было: как они обманывали его, подставляли за себя Озе-Гусятницу. Принцу захотелось разузнать все наверно, он и пошел к Озе туда, где она пасла своих гусей. Он хотел посмотреть, есть ли у нее на пальце кольцо; если да, так лучше всего будет сделать королевой ее. Пришел он к ней и видит, у нее палец тряпкой обвязан. Он спросил: зачем? — Я порезала палец! — сказала Озе. Принц захотел посмотреть рану, но Озе не давала снять тряпку. Тогда принц схватил ее за палец, она рванула его к себе, тряпка слетела, и принц узнал свое кольцо. Он и взял Озе с собой во дворец, раздел ее в роскошные платья, а потом и свадьбу сыграли. Так-то Озе-Гусятнице и достался английский принц, — чему быть, того уж не миновать!



Озе-Гусятница



## Парнишка и черт

Жил-был парнишка. Идет он раз по дороге и щелкает орехи. Один попался со свищом, и в ту же самую минуту навстречу черт.

— А правда ли, — говорит парнишка, — что черт на все горазд, как говорят, и может так съежиться, что сквозь игольное ушко пролезет?

— Еще бы! — говорит черт.

— А ну-ка покажи, влезь-ка в этот орех!

Черт и влез, а парнишка заткнул свищ щепочкой и говорит:

— Ну вот, и попался мне! — И положил орех в карман. Немного погодя дошел до кузницы, вошел туда и попросил кузнеца расколоть ему орех.

— Отчего же? Раз — и готово! — говорит кузнец; взял самый маленький молоток, положил орех на наковальню и ударил, да не тут-то было, орех не раскололся. Тогда он взял молоток побольше, но и тут не сладил с орехом. Рассердился кузнец, схватил самый большущий молот.

— Разобью же я тебя вдребезги! — Да как хватит изо всей мочи. Орех разлетелся, а с ним вместе и полкрыши с кузницы слетело; треск пошел такой, точно весь дом рушился.

— Сам черт разве сидел тут в орехе-то! — воскликнул кузнец.

— Он самый! — сказал парнишка.





— А ну-ка покажи, влезь-ка в этот орех!

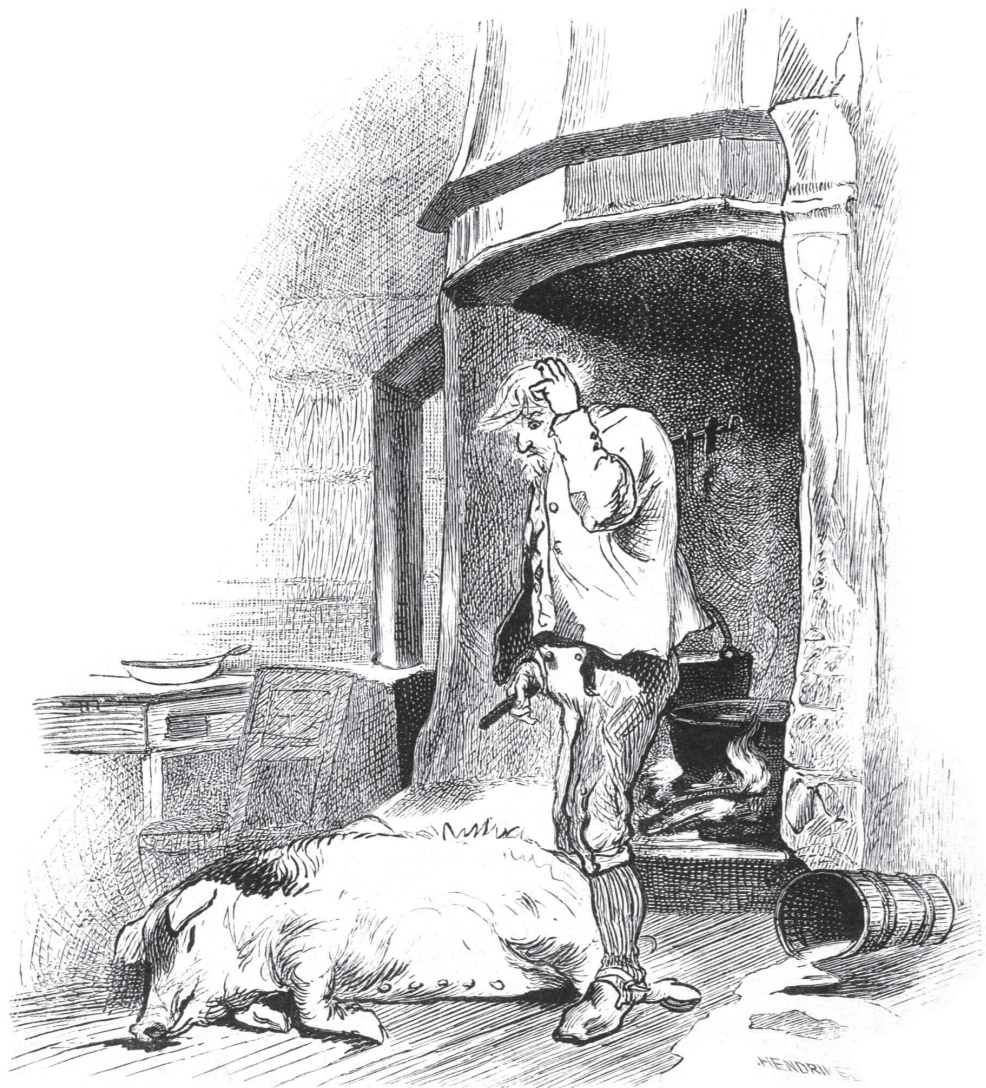


## Как муж хозяйничал

Жил-был один мужик, такой брызга и придира, что жена никак не могла угодить ему; что ни делает, как ни работает, ему все мало. Раз пришел он домой с сенокоса и давай ворчать и браниться на чем свет стоит.

— Не сердись, дружок! — сказала жена. — Завтра мы поменяемся работой: я пойду косить с работниками, а ты дома будешь хозяйничать.

Мужу это понравилось, и он согласился. Рано утром жена взяла на плечи косу и ушла на сенокос с косцами, а муж остался хозяйничать.







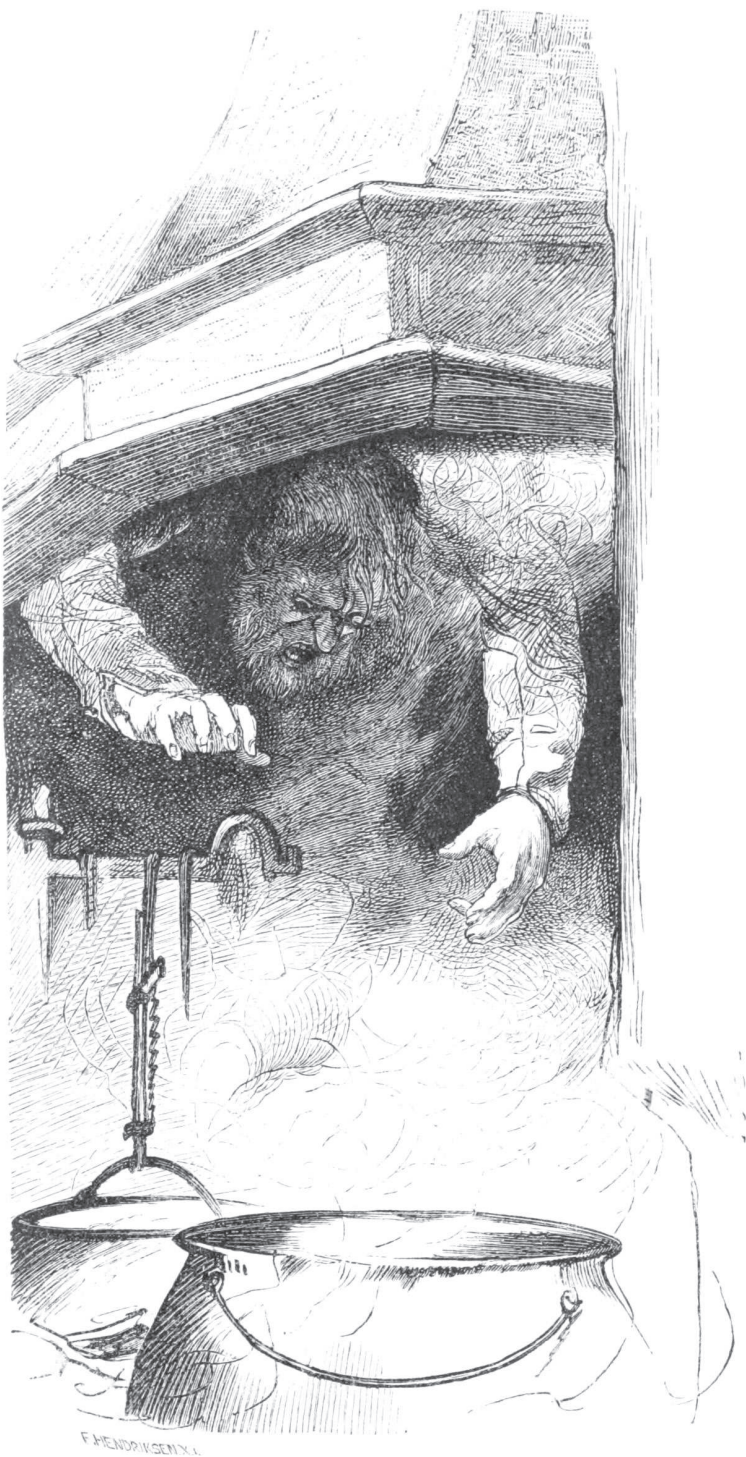
— Завтра мы поменяемся работой:  
я пойду косить с работниками, а ты дома будешь хозяйничать.

Сначала он вздумал сбить масло, но, побив с часок, так захотел пить, что полез в подполье нацедить себе пива. Цедит он пиво из бочонка в кружку и вдруг слышит, в кухню поросенок забрался. Опрометью кинулся он со втулкой в руке по лестнице вверх, чтобы захватить поросенка, пока тот не успел опрокинуть маслобойку. Увидав же, что поросенок таки перевернул посудину и чавкает сметану, которая льется на пол, он так рассвирепел, что совсем забыл про незаткнутый бочонок в подполье и давай гоняться за поросенком по кухне. Наконец настиг его в дверях и дал ему такого пинка, что поросенок так и растянулся на месте. Тут мужик вспомнил, что втулка-то от бочонка у него в руках, кинулся опять в подпол, глядь — пиво-то уж все вытекло!

Делать нечего, пошел в погреб и, к счастью, нашел там столько сливок, что налилась полная маслобойка. Ему непременно хотелось сбить масла к обеду.







*Там он и застрял головой вниз...*



Побил-побил да и вспомнил, что ведь корова-то так и осталась в хлеву не кормлена, не поена, а дня-то уж сколько ушло! Гнать ее на пастбище показалось ему долго, и он придумал пустить ее пастись на крышу. Дом был крыт торфом, крыша и поросла густой, сочной травой. Но мужик уже побоялся оставить в кухне маслобойку, — еще его собственный парнишка, ползающий по полу, опрокинет ее. И вот он взвалил маслобойку себе на спину и пошел за коровой, а ее все-таки надо было сначала напоить. Взял мужик ведро и наклонился зачерпнуть воды из колодца, сливки-то и полились ему на голову, да в колодезь. Масла, значит, взять было неоткуда, а время подходило к полудню, — не сварить ли кашу? Подвесил он к очагу котелок с водой, да вдруг ему и приди в голову, что корова-то ведь может свалиться с крыши да переломать себе ноги, или вовсе сломать шею. Он опять влез на крышу, обвязал вокруг шеи коровы веревку, пропустил конец сквозь трубу и, вернувшись в кухню, обвязал его вокруг своей ноги. Вода уже кипела, и надо было мешать кашу. Мешал он, мешал, а корова-то и свалилась с крыши. Корова вниз, а мужик вверх, — она втащила его за ногу в трубу. Там он и застрял головой вниз, а корова повисла между небом и землей.

Ждала-ждала жена, когда муж придет звать ее обедать, не дождалась, сама прибежала домой. Видит, корова болтается в воздухе; схватила косу и перерезала веревку. В ту же минуту муж бац головой вниз, прямо в котелок с кашей! Так и нашла его жена.



### Бакланы

Возвратившись домой с ловли, нордландские<sup>1</sup> рыбаки нередко находят приставшие к рулю соломинки или ячменные зерна в желудках рыб. Это означает, что они проплывали мимо Удрёста или других каких владений сверхъестественных существ, о которых ходят сказания на севере. Показываются эти владения только благочестивым или ясновидящим людям, которым грозит в море смертельная опасность, и показываются вообще в таких местах, где нет никакой земли. Обитающие там сверхъестественные существа занимаются хлебопашеством, скотоводством, рыбной ловлей и выезжают на ловлю в одномачтовых баркасах, как и прочие рыбаки. Но солнце освещает там куда более пышные луга и нивы, нежели где бы то ни было в северных странах, и счастлив тот, кому удастся попасть или хоть взглянуть на один из таких залитых солнцем островов. «Тот спасен», — говорят нордландцы. Одна старинная песня во вкусе Педера Дасса<sup>2</sup> дает обстоятельное описание одного такого острова близ Гельгеланда, называемого Сандфлезен (песочный бугор), возле берегов которого кишмя кишит рыба, а по берегам всякая дичь. Посреди Вест-Фьорда также, говорят, виден иногда большой плоский остров с пашнями; он выглядывает из воды как раз настолько, что колосья остаются сухими. Рассказывают о подобной же таинственной земле к югу от Лофотенских островов, покрытой зелеными холмами и золотистыми нивами; называют эту землю Удрёст.

<sup>1</sup> Т. е. обитатели севера Норвегии (*примеч. переводчика*).

<sup>2</sup> Дасс — один из самых популярных норвежских поэтов XVII ст. (*примеч. переводчика*).

Жители ее тоже ходят в море на баркасах, как другие нордландцы; иногда рыбаки или шкиперы видят такие суда, несущиеся им навстречу на всех парусах, но в ту минуту, как они думают, что вот-вот столкнутся — таинственные суда исчезают.

—

На острове Вэр, близ Рёста, жил-был один бедняга рыбак Исак. Добра у него только и было, что лодка да пара коз. Кормила их жена рыбака рыбными отбросами, да сами они щипали в горах траву. Зато хижина рыбака была битком набита голодной детворой. И все-таки рыбак был вечно доволен судьбой и благодарил Господа за Его заботы о нем. Об одном он только горевал: не было ему покоя от богатого соседа. Богач полагал, что у него все должно быть лучше, чем у такого голяка, как Исак, и всячески добивался выжить Исака из его хижины, чтобы завладеть прилегавшей к ней удобной пристанью.

Раз Исак выехал в море на ловлю мили за две, как вдруг пал густой туман, и вскоре поднялась такая страшная буря, что ему пришлось ради облегчения лодки и спасенья своей жизни повыкидывать за борт весь свой улов. Но и тогда было нелегко справляться с лодкой; однако ему все как-то удавалось ставить ее наперерез налетавшим на нее с разных сторон и ежеминутно грозившим захлестнуть ее шквалам. Так плыл он часов пять-шесть и уже думал, что до земли недалеко. Но время шло да шло, буря и туман все усиливались, а земли нет как нет. Рыбаку стало казаться, что он уходит дальше в море или что ветер переменялся. Вдруг слышит зловеший крик перед самым носом лодки. «Верно, морской тролль поет мне отходную!», — подумал рыбак и стал молиться Господу о жене и детях, готовясь к последнему часу. Только видит, что-то чернеет невдалеке; поравнялся он — три баклана сидят на плавучем бревне. Пронесся он мимо них и опять плыл, плыл так долго, далеко, что стала





его томить жажда, голод и усталость. Что ему делать? Под конец он уже сидел, держа в руках рулевое весло, как в забытии. Вдруг лодка толкнулась о берег и остановилась. Тут Исак открыл глаза. Солнце прорвало туман и освещало чудную землю. Холмы и горы зеленели до самых верхушек, по скатам шли тучные поля и луга, и ему показалось, что он вдыхает такой аромат трав и цветов, какого сроду не слыхивал.

— Слава богу! Я спасен! Это Удрёст! — сказал Исак про себя. Прямо перед ним расстилалась нива с такими крупными и полными колосьями, каких он еще не видывал. Узенькая межа вела через всю ниву к зеленой, крытой торфом землянке, а на крыше землянки паслась белая коза с золотыми рогами и с таким полным выменем, как у самой большой коровы. Возле землянки сидел на скамеечке маленький, одетый в синее старичок и посасывал носогрейку. Борода у него спускалась до самого пояса.

— Добро пожаловать в Удрёст, Исак! — сказал старик.

— Бог благослови нашу встречу, дедушка! — ответил Исак. — Так ты знаешь меня?

— Может статься! — сказал старик. — Тебе нужен ночлег?

— Коли дадут, так лучшего и не надо, дедушка! — отозвался Исак.

— Беда вот с сыновьями моими, — не выносят они христианского духа! — сказал старик. — Ты их не видал в море?

— Нет; кроме трех бакланов на плавучем бревне, никого я не видал, — ответил Исак.

— Ну вот, это они и были! — сказал старик, выколотил трубочку и предложил Исаку: — Ну, заходи пока; небось, и пить и есть хочется?

— Спасибо, дедушка! — поблагодарил Исак.

Когда же старик отворил дверь, Исака просто ослепило, такое там было великолепие. Ничего такого он и не видывал. Стол был уставлен чудеснейшими яствами — мисками и блюдами с простоквашей, с красной рыбой, с жареной дичью, с лепешками из рыбьей печени, сиропом и сыром, целыми горами кренделей, водкой, пивом, медом и еще всякой всячиной. Исак ел и пил, сколько мог, но тарелки и стаканы его все не пустели. Старик ел немного, да и говорил не больше. Вдруг раздался крик и шум за дверями. Старик вышел и скоро вернулся с тремя сыновьями. Исак было вздрогнул, когда они вошли, но старик, видно, утомил их, — они обошлись с рыбаком довольно ласково и сказали, что он по обычаю должен остаться за столом, выпить и закусить с ними. А Исак-то было уж встал из-за стола, говоря, что сыт, но уступил им, и они стали пить вместе чарку за чаркой, а в промежутках прихлебывали пиво и мед. Скоро они совсем стали друзьями, и хозяйские сыновья сказали, что Исаку надо разок-другой выехать с ними на ловлю, чтобы вернуться домой не с пустыми руками.

В первый раз они выехали в ужасную бурю. Один из братьев сидел на руле, другой на носу, а третий посередине судна, Исаку же приходилось отливать воду большим черпаком, так что пот лил с него градом. Неслись они, как бешеные;

ни разу не убавили парусов, а когда лодка переполнялась водой, взлетали на самый хребет волн, и вода выливалась из кормовой части водопадом. Скоро погода улеглась, и они принялись ловить рыбу. Ее было такое множество, что грузила не опускались свободно в воду, а утыкались в сплошную стену рыбы. Братья с Удрёста беспрестанно вытаскивали добычу; у Исака тоже клевало хорошо, но у него была своя удочка, и он только подымет рыбу к борту, как та сорвется и уйдет. Когда лодка наполнилась, они вернулись в Удрёст. Сыновья старика выпотрошили рыбу и развесили ее вялиться, а Исак стал жаловаться старику на свою неудачу. Старик пообещал, что в другой раз у него пойдет лучше, и дал ему пару удочек. В следующую ловлю у Исака клевало, как и у других, и когда они вернулись, на его долю пришлось довольно.

Потом его взяла тоска по дому, и, когда он собрался ехать, старик подарил ему лодку, полную муки, новый парус и другие полезные вещи. Исак поблагодарил, а старик сказал ему, что он может опять приехать к ним к тому времени, когда они отправятся с грузом в Берген, и ехать с ними, чтобы самому продать свой улов. Исак был очень рад и спросил — какого же курса держаться ему, чтобы опять попасть в Удрёст?

— Прямо туда, куда летят бакланы, когда несутся от берега в море, — как раз и будешь на месте! — сказал старик. — Счастливого пути!

Но когда Исак отчалил и огляделся, Удрёста как будто не бывало, одно море кругом, куда ни погляди.

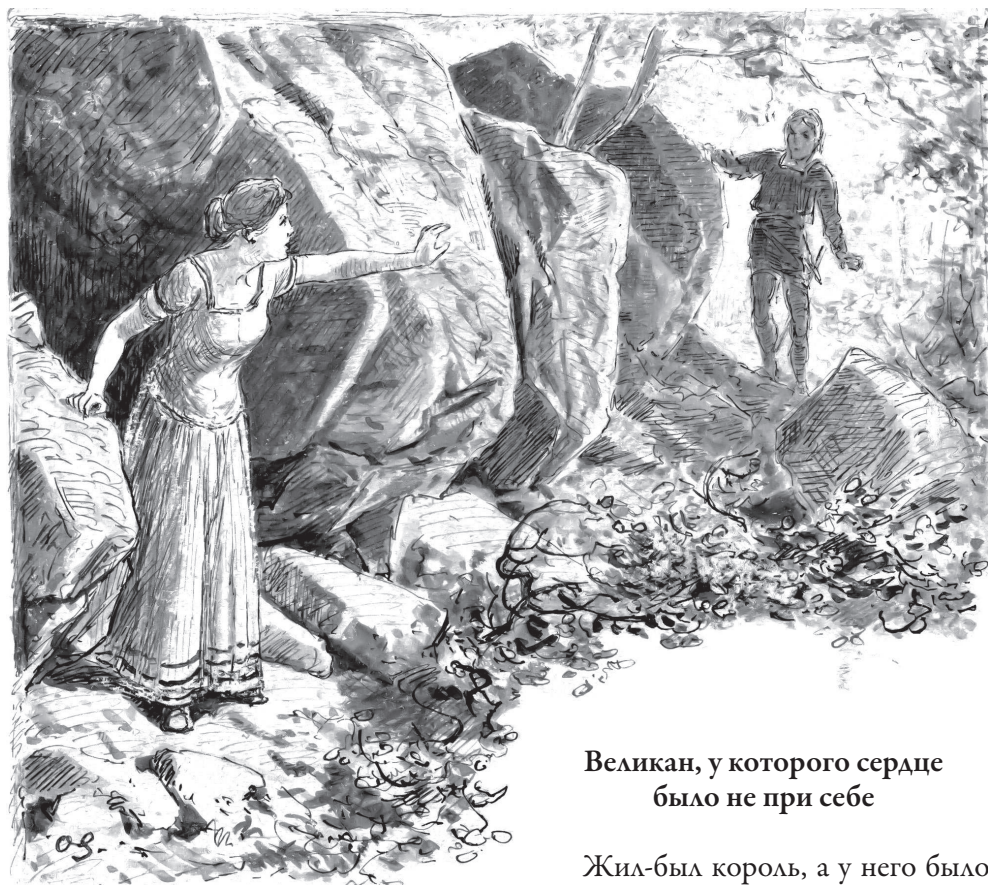


Когда пришло время ехать с рыбой в Берген, Исак опять отправился в Удрёст. И увидал он там такой баркас, какого отродясь не видывал: длиной он был на два окрика: штурман, стоявший на своем мостике, не мог докрикнуть своего приказания рулевому, и между ними в самой середине судна, у мачты, был поставлен еще человек, который уже и передавал штурманский приказ рулевому, да и то должен был кричать изо всех сил. Улов Исака положили в передней части судна, а снимал его с сушил он сам, и вот диво! сколько он ни снимал, рыбы все не убывало, и когда он уехал, на сушиле осталось столько же. В Бергене Исак продал свою рыбу и взял за нее столько денег, что купил на них новый, совсем оснащенный баркас со всеми принадлежностями для рыбной ловли, как посоветовал ему сам старик. Поздно вечером накануне отъезда Исака старик пришел к нему на судно и сказал ему, чтобы он не забывал своих далеких соседей, хоть и стал теперь богатым, а еще предсказал ему счастье и удачу с новым судном. — Все хорошо и все держится, что стоит прямо! — прибавил он и напомнил также, что на судне всегда есть кто-то, кого хоть и не видно, но кто подпирает мачту своей спиной, когда ее начинает накренять. С тех пор Исаку во всем везло. Он помнил, кому обязан этим и, спуская судно в море осенью, никогда не забывал угостить того, кто невидимый стоит на вахте, и каждый сочельник судно его все светилось, а в рыболовном заколе<sup>1</sup> слышались звуки скрипки, музыка, смех и возня, — шла пляска.

---

<sup>1</sup> *Закол* — рыболовный забор, ограждение из кольев, прутьев или плетня с разрывами, традиционное средство ловли красной и черной рыбы (*примеч. ред.*).





### Великан, у которого сердце было не при себе

Жил-был король, а у него было семь сыновей. Он их так любил, что не мог отпустить от себя всех за

раз, — один уж непременно должен был оставаться при нем. Когда они выросли, шестерым он позволил отправиться по белу-свету искать себе невест, а младшего оставил дома. Братья должны были привезти и ему невесту принцессу. Король обрядил тех шестерых на славу; так на них и сияло все; дал им дорогих коней, стоивших целые тысячи, и они уехали. Переезжая от одного короля к другому, высматривая принцесс, добрались они до короля с шестью дочерьми принцессами. Таких красавиц они еще не видывали, сейчас же посватались к ним, получили согласие и направились с невестами в обратный путь домой. И так они были рады, что совсем забыли про младшего Замарашку, который дома остался, а они ведь должны были и ему привезти невесту.

Проехали они уже добрый конец пути, и пришлось им проезжать мимо уступа скалы, на котором лежало жилище великана. Великан вышел, увидел их и всех превратил в камень — и принцев, и принцесс. Ждал-ждал своих шестерых сыновей король — нет их, да и только. Стал он горевать-тосковать и плакаться, что теперь вовек не знавать ему больше радости.



*Великан вышел, увидал их и всех превратил в камень — и принцев, и принцесс.*



— Не будь еще тебя, — сказал он Замарашке, — я бы и жить не захотел больше, так горько мне, что я лишился твоих братьев!

— А я-то думал проситься у тебя ехать искать братьев! — сказал Замарашка.

— Ни за что не пущу! — ответил отец. — Еще и ты сгинешь!

Но Замарашке во что бы то ни стало хотелось ехать, и он так просил-молил отца, что пришлось тому уступить. Но в конюшне у короля оставалась всего-навсего одна старая кляча, — шестеро старших сыновей и их свита забрали всех лучших королевских коней; ее и дали Замарашке, а тому и горя мало. Сел на старую паршивую клячу и говорит отцу:

— Прощай, батюшка! Увидишь, ворочусь к тебе, да, пожалуй, еще с братьями! — и уехал.

Проехал он конец дороги и наткнулся на ворона: лежит посреди дороги, бьет крыльями и ни с места; уж больно отощал с голоду.

— Добрый человек, дай мне поесть, я тебе в нужде пригожусь! — говорит ворон.

— У меня у самого с собой немного, да и вряд ли будет от тебя большой прок! — ответил принц Замарашка. — Но немножко я тебе все-таки уделю, — вижу, плохо тебе приходится! — И он дал ворону немножко из своей дорожной сумы с припасами. Проехал он конец дороги, доехал до ручейка, глядь, на берегу лосось лежит, бьется, извивается, не может в воду попасть.

— Добрый человек! Брось меня в воду! Я тебе в нужде пригожусь! — просит лосось принца Замарашку.

— Невелик будет от тебя в нужде прок! — отозвался принц. — Но грех дать тебе тут умереть с голоду! — И он пустил лосося в воду.

Долго ли, коротко ли ехал, наехал на волка: лежит посреди дороги, околевает с голоду.

— Добрый человек! Отдай мне свою клячу! — просит волк. — У меня брюхо совсем свело от голодухи, два года не ел!

— Нет, — говорит Замарашка, — этого я не могу! Сначала попался мне ворон, — пришлось его покормить из моей сумы, потом лосось, — пришлось его в воду бросить, а тебе теперь лошадь подавай! На чем же я поеду?

— Добрый человек! Помоги мне! — опять просит серый. — Поедешь на мне; я тебе в нужде пригожусь.

— Ну, невелик от тебя будет прок, да уж так и быть, бери мою клячу, раз тебе такая нужда пришла! — сказал принц.

Когда волк съел клячу, Замарашка взнуздал, оседлал его и сел на него верхом, а волк, поев, так набрался сил, что понес на себе Замарашку, словно перышко; так лихо Замарашка еще не ездил.

— Проедем еще конец, и я тебе покажу жильё великана! — сказал серый. Скоро они и доехали до места.

— Гляди, вот жильё великана! — сказал волк. — А вот все шестеро братьев твоих, — он их в камни обрattel; тут же и все шесть невест с ними. А здесь вход в жильё; входи!



— Нет, боюсь! Он меня убьет!

— Нет; ты, как войдешь, встретишь принцессу; она тебя научит, как быть. Только делай все, что она велит.

Замарашка вошел, хоть и боязно ему было. Великана как раз не случилось дома, а в одном из покоев принц в самом деле встретил принцессу; такой красавицы он и не видывал.

— Как ты попал сюда? — спросила принцесса. — Ведь ты на верную смерть пришел. С великаном, что живет тут, никто не справится; у него ведь нет при себе сердца.

— Ну, уж раз я тут, надо попробовать с ним управиться! — сказал Замарашка. — Мне надо попытаться спасти братьев, — вон они камнями стоят на дороге, — да и тебя тоже освободить!

— Да, уж раз ты здесь, надо придумать что-нибудь, — сказала принцесса. — Залезай под кровать и слушай хорошенько, о чем я буду с ним говорить. Только ни гу-гу, смотри!

Не успел Замарашка хорошенько улечься под кроватью, явился великан.

— Фу-фу, христианским духом пахнет! — сказал великан.

— Да; тут пролетала сорока с человечесьей костью да уронила ее в трубу к нам. Я сейчас же выбросила, а дух все-таки остался, не скоро выживешь, — сказала принцесса.

Великан и не стал больше об этом разговаривать.

Пришел вечер, великан улегся отдыхать, а принцесса и спрашивает его:

— Спросила бы я у тебя об одном, кабы смела.

— Ну, о чем?

— Да вот, где же твое сердце, коли не при тебе?

— Ну, об этом тебе нечего спрашивать, а впрочем, оно лежит под плитой там у порога! — сказал великан.

— Ого! Авось найдем его! — сказал про себя Замарашка.

Утром великан встал раным-рано и ушел в лес, а Замарашка с принцессой принялись копать землю под плитой у дверей, но сколько ни рылись, ничего не нашли.

— Надул он нас, но попытаемся еще раз выведать у него, где сердце! — сказала принцесса. Положили плиту на место, землю уравнили, а потом принцесса нарвала цветов и обложила ими плиту у порога. Замарашка ко времени прихода великана опять забрался под кровать. Только залез туда, явился великан.

— Фу-фу, как тут христианским духом пахнет! — сказал он.

— Да; пролетала сорока с человечесьей костью да уронила в трубу к нам, — сказала принцесса. — Я скорей выкинула ее, но духа-то так скоро не выжить!

Великан и замолчал. Но немного погодя он спросил, кто это набросал цветов у порога.

— Я, — ответила принцесса.

— Для чего?

— О, я так тебя люблю; как же мне было не сделать этого, раз я знаю, что тут лежит твое сердце!

— Вот как. Только его тут нет! — сказал великан.

Вечером, когда великан улегся, принцесса опять стала спрашивать, где же его сердце, — очень, дескать, ей хочется знать это, так она его любит!

— Лежит там, в стенном шкафу! — сказал великан.

«Ну, теперь доберемся!» — подумали Замарашка и принцесса.

Утром великан встал раним-рано и опять ушел в лес. Замарашка с принцессой скорей в шкаф искать сердце. Нет — не нашли.

— Попробуем еще раз выведать! — сказала принцесса. Взяла и весь шкаф изукрасила цветами и венками, а Замарашка под вечер опять залез под кровать. Пришел великан.

— Фу-фу, как христианским духом пахнет! — сказал он.

— Да; пролетала сорока с человечесьей костью и уронила ее в трубу. Я скорей выбросила ее вон, а вот все еще пахнет! — сказала принцесса.

Великан больше и разговаривать не стал, а потом увидал весь шкаф в цветах и спросил, кто это сделал.

— Да я, — сказала принцесса.

— К чему такие глупости?

— О, я так тебя люблю; как же мне было не сделать этого, раз я знаю, что тут лежит твое сердце.

— Вот глупая-то! Ей что ни скажи — сейчас поверит! — сказал великан.

— Как не поверить, раз ты сказал?

— Дура ты! До того места, где лежит мое сердце, тебе не добраться!

— А все-таки интересно бы знать, где оно! — сказала принцесса.

Тут великан не удержался и сказал:

— Далеко-далеко лежит на воде остров; на острове церковь, в церкви колодезь, в колодце плавает утка, в утке яйцо, а в нем мое сердце.

Рано утром, еще и не брезжило, великан опять ушел в лес.



— Ну, и мне в путь надо! — сказал Замарашка. — Только бы дорогу найти!

Простился он пока с принцессой, вышел на дорогу, а волк тут как тут, дожидается. Принц рассказал волку, как было дело, и прибавил, что теперь хочет ехать к тому колодцу, да вот как найти дорогу? А волк только велел ему садиться на себя, — дорога уж его дело, — и помчался по горам, по долам, через пни и колоды, так что в ушах свистело. Много дней, много ночей скакали они, наконец доскакали до воды. Как через нее перебраться на остров, принц не знал, но волк велел ему только не пугаться, бух в воду и переплыл с ним на остров. Подъехали к церкви. Но ключ от дверей висел на верхушке колокольни. Как до него добраться?

— Крикни ворона! — сказал волк. Принц так и сделал. Ворон сейчас же явился и достал ключ. Принц вошел в церковь, подошел к колодцу: в нем и впрямь плавала утка, как сказал великан. Стал Замарашка ее манить; манил-манил, подманил и схватил. Но только вынул ее из воды, утка уронила яйцо прямо в колодезь. Как его достать, Замарашка ума не мог приложить.

— Крикни лосося! — сказал серый. Принц так и сделал. Лосось явился и достал яйцо со дна колодца.

Тут волк посоветовал принцу сдавить яйцо, и как только Замарашка сдавил, великан закричал благим матом. — Сдави еще! — сказал серый. Принц так и сделал, и великан закричал еще отчаяннее и стал умолять Замарашку пощадить его; он все был готов сделать, только бы принц не раздавил его сердца совсем.

— Скажи ему, что если он отколдуует твоих братьев с невестами, то ты оставишь его в живых! — посоветовал волк. Замарашка послушался. Великан на все был согласен и сейчас же превратил опять в людей принцев и принцесс, всех шестерых братьев Замарашки и их невест.

— Теперь раздави яйцо! — сказал волк. Замарашка раздавил, и великан лопнул.

Тут Замарашка вернулся на волке к жилью великана. На пороге стояли все его братья живехоньки со своими невестами. Замарашка зашел в жилье великана за своей невестой, и потом все отправились домой.

Вот-то обрадовался старик-король, когда увидал, что все семеро сыновей вернулись домой, и все с невестами!

— Но краше всех принцесс невеста Замарашки! — сказал он. — Замарашка сядет с ней на самом почетном месте! — И стали они пировать и, коли не отпировали, и посейчас пируют.





## Блин

Жила-была женщина, а у нее было семеро голодных ребят; она и испекла для них блин. Блин был из черной муки, но так славно поднялся на сковородке, вышел такой пухлый, румяный, что любо-дорого было смотреть. Ребятишки все и столпились около печки; даже дед сидел возле и смотрел.

— Ах, мама, дай мне попробовать блинка, я так есть хочу! — сказал один из ребят.

— Милая мама! — сказал другой.

— Милая, славная мама! — подхватил третий.

— Милая, славная, хорошая! — закричал четвертый.

— Милая, славная, хорошая, добрая! — крикнул пятый.

— Милая, славная, хорошая, добрая, дорогая! — перебил шестой.

— Милая, славная, хорошая, добрая, дорогая, золотая! — завопил и седьмой, и так они наперебой, один умильнее другого, просили у матери попробовать блина, — такие они были голодные и такие умные.

— Да-да, детушки, подождите только, пока он перевернется, — сказала мать, а ей бы следовало сказать: пока я переверну его, — тогда все получите! Поглядите-ка, какой он пухлый да румяный!

А блин-то услышал, испугался и вдруг сам собой перевернулся, — хотел вылезть из сковородки, но опять шлепнулся на нее да угодил той же стороной, так что подгорел немножко и затвердел, а потом все-таки выпрыгнул на пол и покатился, точно колесо, на порог, с порога на дорогу.

— Ай-ай-ай! — Мать со всех ног за блином со сковородкой в одной руке, с поварешкой в другой, дети за матерью, и дед туда же за ними заковылял.

— Стой! Держи! Лови! — кричали они наперебой, догоняя блин, а тот себе знай катится да катится, так и укатился, и след его простыл; он, небось, попрытче их был.

Катился он, катился, встретил мужика.

— Здравствуй, блинок! — говорит мужик.

— Здравствуй, мужик-кулик! — говорит блин.

— Милый блинок, не торопись, погоди, дай я тебя съем! — говорит мужик.

— Я от бабы ушел, от деда ушел, от семерых крикунов ушел, так и от тебя, мужика-кулика, уйду! — говорит блин, и покатился-покатился. Навстречу курица.

— Здравствуй, блинок! — говорит курица.

— Здравствуй, кура-мура! — говорит блин.

— Милый блинок, не торопись, погоди, дай я тебя съем! — говорит курица.

— Я от бабы ушел, от деда ушел, от семерых крикунов ушел, от мужика-кулика ушел, а от тебя, куры-муры, и подавно уйду! — и покатился-покатился колесом. Навстречу петух.

— Здравствуй, блинок! — говорит петух.

— Здравствуй, петух-лопух! — говорит блин.

— Милый блинок, не торопись, погоди, дай я тебя съем! — говорит петух.

— Я от бабы ушел, от деда ушел, от семерых крикунов ушел, от мужика-кулика, от куры-муры, а от тебя, петуха-лопуха, и подавно уйду! — и покатился-покатился изо всех сил. Навстречу утка.

— Здравствуй, блинок! — говорит утка.

— Здравствуй, утка-дудка! — говорит блин.

— Милый блинок, не торопись, погоди, дай я тебя съем!

— Я от бабы ушел, от деда ушел, от семерых крикунов ушел, от мужика-кулика, от куры-муры, от петуха-лопуха и от тебя, утка-дудка, уйду! — И покатился-покатился изо всех сил. Долго-долго катился. Навстречу гусь.

— Здравствуй, блинок! — говорит гусь.

— Здравствуй, гусь-трус! — говорит блин.

— Милый блинок, не торопись, погоди, дай я тебя съем! — говорит гусь.

— Я от бабы ушел, от деда ушел, от семерых крикунов ушел, от мужика-кулика, от куры-дуры, от петуха-лопуха, от утки-дудки, и от тебя, гусь-трус, уйду! — и покатился-покатился. Долго-долго катился; навстречу гусыня.

— Здравствуй, блинок! — говорит гусыня.

— Здравствуй, гусыня-разиня! — говорит блин.

— Милый блинок, не торопись, погоди, дай я тебя съем! — говорит гусыня.

— Я от бабы ушел, от деда ушел, от семерых крикунов ушел, от мужика-кулика, от куры-муры, от петуха-лопуха, от утки-дудки, от гуся-труся, а от тебя, гусыня-разиня, и подавно уйду! — и покатился-покатился изо всех сил. Долго-долго катился, встретил поросенка.

— Здравствуй, блинок! — сказал поросенок.

— Здравствуй, поросенок-свиненок! — сказал блин и покатился-покатился.

— Пстой! — сказал поросенок. — Куда так спешишь? Пойдем вместе потихоньку; спокойней будет, — в лесу-то не совсем ладно!

— А ведь и то! — И блин согласился. Вот шли они, шли, да и пришли к ручью. Поросенку и горя мало, поплыл себе на сале, а блину-то как быть?

— Садись ко мне на рыло, перевезу! — говорит поросенок.

Блин-то и сел.

— Чавк-чавк! — чавкнул поросенок, да и счавкал блин.

Блину конец, и сказке конец.





## Глухариный ток в Голейе

Раз, в первых числах мая (это было до введения закона об охоте), вышли мы из Тюристранда, чтобы, спустившись по откосу, быть на следующее утро на взгорье Шерсё, на глухарином току. Было нас четверо: товарищ мой — капитан, я, старый охотник Пер Сандакер из Согне-долины и парень, ведший две своры собак, — после охоты на глухарей мы собирались отправиться за зайцами. Внизу в селе стояла уже полная весна, но когда мы поднялись на гребень горы, оказалось, что в долинах и лощинах лежит снег. Вечер был довольно теплый, и птицы в лесах славили весну. Неподалеку от Аск-сэтера<sup>1</sup>, где мы рассчитывали найти ночлег, поднялись мы на хорошо знакомое всем местным охотникам на птиц взгорье Шерсё, чтобы проследить, где птицы усядутся на ночевку. Когда перед нами открылся свободный вид, солнце уже заходило, золотя небо. Невеселый ландшафт расстился перед нами: бесконечные мрачные леса и горные кряжи, прерывающиеся только скованными льдом лесными озерами и большими болотами, — и так вплоть до горизонта.

Недолго пришлось ждать нам после захода солнца. Скоро послышался грузный полет и затем шумное хлопанье крыльев садившейся птицы.

— Ну, это не старик! — сказал капитан с видом знатока, не слыша ни звука после того, как птица уселась.

Скоро прилетели и уселись на ночлег еще две птицы, тоже не издав ни звука. Но затем раздался еще более грузный, шумный полет, и, усевшись, птица принялась прочищать горло.

— Ну, этот молодец не из прошлогодних выводов! Это из главных на току! — сказал Пер Сандакер. — Как бы не сам «хозяин»; это, пожалуй, скорее всего.

Прилетели еще три птицы, и каждой, как только они усаживались, старик подавал голос. Две не отвечали, а третья отозвалась тем же голосом.

— Это чужак! — сказал Пер. — Он не знает старика, а то бы придержал глотку. Утречком пожалеет, — старик отыщет его, а с тем шутки плохие, когда

---

<sup>1</sup> Сэтер — собственно, горное пастбище; в Норвегии скот угоняют весной на все лето до поздней осени в горы, где на удобных местах и выстроены хижины для пастухов и пастушек (*примеч. переводчика*).

он разойдется. Я видел раз, как он общипал одного задиру, — тоже вздумал перебить его на току!

При этих словах открытое обветренное лицо охотника приняло лукаво-ухмыляющееся выражение, ясно намекавшее на какую-то таинственную историю. Согласно краткому описанию Пера Сандакера, данному мне капитаном во время пути, когда Пер немного отстал от нас, последний был мастер по части разных историй о заколдованных птицах, оборотнях и прочих сверхъестественных существах, особенно же давал волю языку, когда дело доходило до рассказа о том или другом из восемнадцати медведей, уложенных им на своем веку. Зато он охотно умалчивал о стольких же случаях пуделянья<sup>1</sup>, приписываемых ему злыми языками.

— Что же это за «хозяин», про которого ты говоришь? — спросил я.

— А это я сейчас объясню вам! — поспешил ответить капитан, в то время как мы направлялись к сэтеру. Он, видно, боялся, чтобы мой несвоевременный и слишком поспешный для такого недавнего знакомства вопрос не возбудил недоверия Пера и не завязал ему рта. — Это я вам скажу. Есть на этом току старый глухарь, который стал басней всего околотка. У охотников он известен под именем «блеяльщика». Он вместо того, чтобы сидеть себе смирно на ветке и щелкать, перелетает с места на место и блеет, словно козел. И только по окончании этого маневра усаживается скиркать, а потом опять за то же. Ни с чем не сообразная манера! Нельзя подобраться к нему на выстрел<sup>2</sup>. А еще чаще он пускает в ход другую уловку, куда хуже. Сидит смирно и щелкает, и отбивает свои удары, а точить перелетает на другое дерево. Дашь по нему выстрел наудачу — конечно, промах! Пер уже раз стрелял в него с солью и с серебром<sup>3</sup>, но с того хоть и перья полетели, а он и ухом не повел, точно ему отсалютовали только. И на другое утро опять за ту же лукавую игру!

— В него что в камень стрелять! — убежденно сказал Пер. — Я раз подобрался к нему, когда он токовал тут на взгорье посреди дороги, у самого мостика. Вокруг него собралось никак штук семь его самок, а сколько еще в лесу было! Так и гнусили и лопотали за каждым кустом. Те, что были на виду, бежали вокруг него, вытянув шею, приседали и лебезили перед ним. А он себе сидел и надувался, что твой граф. Потом вдруг как распустит хвост колесом, да и давай вертеться и мести крыльями вокруг ног и подпрыгивать — вот настолько! Я тогда еще не знал, что это за молодец, а то бы сейчас пальнул в него, прежде чем он заговорит себя от выстрелов, но мне забавно было поглядеть на него. Только что он расходился вовсю, прилетает другой глухарь, поменьше, и тоже давай щелкать. Вот так потеха пошла. Старик развернул хвост, надул

<sup>1</sup> *Пуделять (охотнич.)* — промахиваться при стрельбе (*примеч. ред.*).

<sup>2</sup> Охотники подкрадываются к глухарям во время «скиркания» или «токования», когда птица обыкновенно так увлечается, что не видит и не слышит (отсюда название «глухарь») ничего (*примеч. переводчика*).

<sup>3</sup> «Для счастья» суеверные охотники всыпают в дуло поперх заряда соль или кладут туда серебряную монетку, серебряную пуговицу и т. п. (*примеч. переводчика*).



*Вечер был довольно теплый, и птицы в лесах славили весну.*



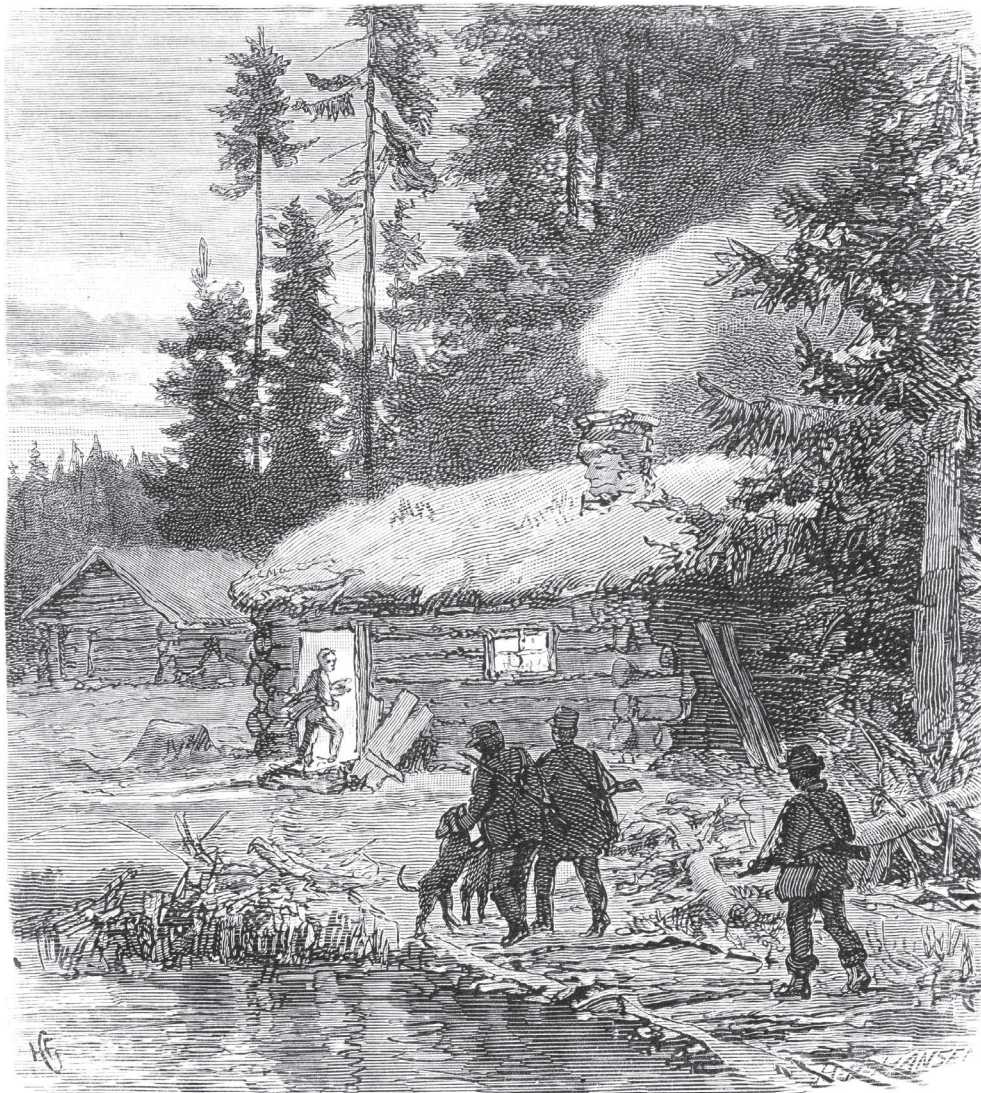
перья да как защелкает — во мне так и екнуло, а другой ему отвечает, — тоже молодец был. Тут старик на него и налетел, клювы, перья — все в одну кучу, только треск пошел по лесу! Уж так-то они насакивали друг на друга, клевались, царапались и били друг друга крыльями. Разъярились так, что ничего не слышали и не видали; право, кажется, руками бы их можно было взять. Наконец старик изловчился, ударил на другого, схватил за вихор да так обратотал, что тот запищал, даже жаль стало; таскал-таскал старик его за вихор, потом подмял под себя и чуть не верхом на нем подъехал к самым моим ногам. Тут я приложился и выстрелил. Другого сразу наповал убил, а старик все сидит на нем да теревит его. «Ну, коли ты такой задорный, — думаю я, — будешь моим!» Зарядил ружье, только хотел прицелиться, как он вострепенулся и взлетел прямо кверху. И это всего в десяти шагах от меня! Право слово! Чтoб вовек в птицу не попадать, коли я вру!

В другой раз я тоже был в этих местах и слышал, как он уселся тут, — как вот сегодня вечером. Сел он на старую сосну. В самую полночь, пока еще ни одна птица не проснулась, я и отправился туда. Вот начал он свою игру — на этот раз вел ее честно — и так старался, что сосна дрожала: и «щелкал», и «удары отбивал», и «токовал» — все на одном месте. Во время четвертого скиркания я подобрался к нему на выстрел. Он сидел низехонько на ветке. «Ну, теперь-то ты мой!» — думаю себе и зарядил ружье серебряной монеткой сверх дробы. Да как бы не так! Выстрелил, а он прямо кверху, хоть перья-то и полетели. Не берет его!

— Завтра все-таки попробуем добраться до него, Пер. Теперь мы ведь знаем, где он сидит, — сказал капитан, слегка подтрунивая над Пером.

— Ну, за ним гоняться-то — разве ни одной птицы больше в лесу не останется! — отозвался Пер полусердито. — Впрочем, — прибавил он с некоторой насмешкой, — если капитану угодно! — А я пороховинки на него не брошу. Да и скажу вам тоже, — продолжал он положительным тоном, — такого токованья ведь и не услышишь! Птица-то какая! Такой другой нет. Он и видом-то особый. По крайней мере в полтора раза крупнее других глухарей.

— Да, пожалуй, эта старая бестия не стоит заряда! — сказал капитан. — Мясо у него, верно, жесткое и горькое, не лучше сосны, на которой сидит. А все же хотелось бы доканать его, чтобы положить конец его плутням! Сколько раз он нас за нос водил! Я тоже стрелял по нему, да всякий раз на таком расстоянии, что и думать было нечего попасть. Разумеется, глупо два раза стрелять по тетереву на большом расстоянии, сами знаете, — обратился он ко мне, — да что же прикажете делать, так уж пришлось в тот раз: я услышал, что эта каналья Сара-Андерс тоже подбирается к нему! Но, — прибавил он, подмигивая мне незаметно для других и тем давая знать, что имеет в виду подзадорить Пера Сандакера и заставить его развязать язык, — когда мы доберемся до сстера, я расскажу вам про одно свое приключение с зайцем. Тот был почище вашего глухаря.



Скоро мы отыскали на сэтере пустую пастушью хижину, где уже дожидался нас парень с собаками, — он не ходил с нами на взгорье. По распоряжению капитана он проветрил помещение и развел огонь в очаге. Когда мы снимали с себя охотничьи доспехи и плотно закусили из капитанской дорожной кисы<sup>1</sup>, капитан с напускной серьезностью принялся рассказывать свое приключение с чудесным зайцем.

— Когда я еще был офицером, стояли мы раз летом в лагерях в Тотене. Я взял с собой собак, чтобы можно было охотиться. Раз после обеда стою

<sup>1</sup> *Киса* — здесь: сумка, затяжной кожаный мешок (*примеч. ред.*).



я в кухне, собираюсь на охоту вечером; входит один из наших хозяев, я и спрашиваю у него:

— А что, много тут зайцев?

— Есть таки, — отвечает он. — Тут вот недалеко в Сукестадском поле бегает материк. За ним погонялись немало, да нет, не дается! — и он глубоко-мысленно покачал головой.

— Не дается? Это что за вздор? Значит, собак хороших не было? Вот как мои подымут, — живо в наших руках будет! — И я погладил свою свору; собаки так и рвались в поле.

— Да, как же! Держите карман! — оскалил зубы хозяин.

Я прямо отправился в Сукестадское поле и не успел спустить собак, как заяц показался. Тут-то пошла гоньба! Да толку не вышло. Он так неся, так вилял, так путал след, что собаки то и дело теряли его, потом опять подымали косого, и опять он выделывал те же штуки — до нового куста. Я кидался во все стороны, стрелял несколько раз, но, конечно, все пуделял. Под конец заяц уселся шагах в сорока от меня у ельника. Я дал выстрел и иду себе спокойно взять его, подхожу к ельнику — зайцем и не пахнет, а лежит какая-то палка да тряпка! На другой день пришлось чистить ружье, совсем загрязнилось. Когда я возился с ним, вошел хозяин.

— Ну что ваш заяц, лейтенант? — спрашивает он, ухмыляясь.

Я рассказал ему, как было дело.

— За ним много гонялись, да не дается! — повторил он с таинственным видом. — Вишь, ружье чистите; все едино толку не будет, уйдет от вас косой!

— Да что же это за заяц? — спросил я. — Разве его и порох не берет?

— Пожалуй, что так, — ответил хозяин. — Это не простой заяц. Но тот, что вас провел вчера, был только посланный его, а сам-то он никогда в настоящем виде не покажется. А вот постойте, я вас научу! Возьмите змею, — я вам достану, — да и зарядите ею ружье, а потом выстрелите; посмотрим, возьмет его после этого свинец или нет.

Я так и сделал. Достал он мне живую змею, загнали мы ее в дуло, и я выстрелил в стену. И вот диво, на стене только мокрое пятно оказалось.

Спустя несколько дней пошел я опять в Сукестадское поле. Дело было утром. Только успел спустить собак, они и подняли зайца. На этот раз собаки все время неслись по следу, лай ни на минуту не прекращался. Не прошло и получаса, как выгнали его прямо на меня. Я приложился и выстрелил. Он так и покатился. Огромный оказался самец, весь в рубцах, и уха одного не было.

— Про такого зайца и я слышал! — сказал Пер, внимательно следивший за рассказом капитана. — Он держался тут, в Голейе. Говорили, что он был почти как уголь черный. Много тоже гонялись за ним, да без толку. Наконец этот каналья Сара-Андерс подстрелил его; он ведь повсюду шляется. Это его следы мы видели там, близ Раузандского холма. Такая дрянь! Злость берет, как увидишь следы его лыж, — он ведь не как другие, никогда не выждет, чтобы птица как следует разыгралась.



— Еще бы! — сказал капитан, поглаживая усы. — Не в первый раз этот молодчик шляется по заповедным местам. Но скажи мне, это он подстрелил того зайца близ Христиании, о котором ты рассказывал?

— Ах, того! Нет, того подстрелил тамошний охотник Бранд Ларс. Вы его, верно, знаете; вы тоже из Христиании? — обратился Пер ко мне. Но я не знал Бранда Ларса.

— Не знаете? Он еще жил в хижинке под горой, сейчас возле Греффена. Я раз встретил его на охоте в Галланде с господами. Чудак он большой, но лихой стрелок. Зайцев бьет почти без промаха, птицу на лету бьет, не плоше капитана. Он мне рассказывал про того зайца, о котором капитан спрашивает, и еще много чего.

«Мне, — говорит, — поручили трех собак старика Сименса, и надо мне было добыть свеженького мяса. Одну, — говорит, — звали Рапп. Это была такая собака, что на нее никакое колдовство не действовало, — рыжая была. Ну и другие две тоже были добрые собаки, грех пожаловаться. Так вот, — говорит, — в самое Вознесенье утром был я у Линдерудского сэтера; Рапп и поднял кособокого и так погнался, только стон стоял. Покружили-покружили, заяц-то и летит прямо на меня. Я выстрелил, — мимо! Опять пошла гоньба. Немного погодя, — говорит, — опять Рапп его на то же место выгнал. Гляжу, — говорит, — спина-то у него совсем черная. Я и опять промахнулся. „Что за черт, — думаю, — другие-то собаки что не гонят? Один Рапп на хвосте у него висит. Нет, тут что-нибудь нечисто. Не простой это заяц!“ Только все-таки хочется, — говорит, — еще разок взглянуть на него. Вот он и в третий раз мимо меня побежал, и я опять пропуделял. На этот раз и обе другие собаки гнали, только голосу не подавали. Ну тогда я, — говорит, — заморозил ружье».

— Как так? — спросил я.

— Расскажи, расскажи, Пер! — сказал капитан.

— Сначала-то он не хотел говорить мне, — отозвался Пер, — ну а потом, как я поднес ему еще стаканчик да связку табака, он и рассказал. «Надо, — говорит, — взять кору омелы и обмотать вокруг курка, соскоблить три крошки с серебряной монетки, перешедшей к тебе по наследству, только с хорошей, старинной, какие с нами на войну ходили; потом соскоблить три стружки с ногтя мизинца на левой руке и взять три ячменных зерна, а если нет под рукой, то просто три хлебные крошки, и все это положить в дуло сверх заряда; тогда капут всякому, кто попадется под выстрел, будь то хоть сам черт! Я так, — говорит, — в тот раз и сделал, и когда заяц-то выбежал на меня в четвертый раз, я и уложил его на месте. Худой, — говорит, — старый был зайчишка, от старости-то и почернел весь! Я, — говорит, — взял его да подвесил за задние ноги к сучку на березе, чтобы выпотрошить его. И крови из него вытекло, что из телки! Собака лакала, лакала. Потом, — говорит, — пошел я с ним да и начал плутать. А кровь из него так и льет. Два раза опять на то же место, к березе, выходил. Что за диво, думаю себе, — говорит, — ведь я тут в поле



как дома! Да, коли уж не везет, так не везет! Ну, пустил собак вперед искать дорогу. Миновал несколько горных выступов, гляжу — у березняка на пригорке стоит старуха, одета по-нашему, на клюку опирается. И вдруг и говорит мне, старуха-то: „Ты, Ларс, много зайцев забрал у меня тут в поле, я тебе всегда добра желала. Так и ты мог бы оставить в покое моего зайца. Да, не будь у тебя рыжего Раппа, тебе бы и не видать его!“ Я ни слова ей не сказал, — говорит Ларс, — а отправился через Клячье болото к Медвежьей засеке. Там спустил собак; сразу залились. Рапп поднял, а я стою и прислушиваюсь, подхватят ли другие; погнал-то он опять к тому сэтеру, так что я совсем струсил. Вдруг слышу — голоса всех трех; значит, заяц настоящий. Долго же они его гнали, черт побери, наконец выгнали. Затопал он по пригорку, словно

жеребенок, а ростом, право, с козленка. Этого я на месте положил. Потом пошел, — говорит, — к озеру. Там собаки опять подняли и опять пошла гоньба на Линдерудский сэтэр. В конце концов выгнали ко мне. И этого убил. Ну, трех-то уж было довольно, — говорит, — и отнес их в погреб к Симену. А только, — говорит, — тот черный заморыш три дня все кровью тек, весь погреб залил».

— А ты вот говоришь, что тут в Голее тоже был такой заяц. Да еще говорят, тут в горах столько кладов, золота и серебра! Вот бы нам малую толику! А? Как ты думаешь, Пер? — сказал капитан, опять желая вызвать Пера на рассказ.

— Ну, капитану-то нет нужды в этом; своего добра довольно! — отозвался Пер. — А вот такому бедняку, как я, хорошо было бы, да не дается он, клад-то!

— Диво все-таки, что ты еще не добрался хоть до какого-нибудь! — продолжал капитан.

— А как добраться? — спросил Пер. — Копать да рыть тут в горах, как старик Джон Гауген, мало толку будет.

— Ну, есть другие способы добыть клад! — заметил капитан с таинственным видом. — А если попасть в милость к горным ведьмам? Ты же в молодости парень был хоть куда! Мог бы надеяться!

— Хе-хе-хе! — засмеялся в бороду Пер, очень довольный шуткой капитана насчет его привлекательной наружности. — Мне этого в голову не приходило. Я во всю жизнь не видал ни одного тролля, никаких духов.

— Но в старину возле Голеей так водилась горная старуха? — сказал капитан.

— Ну, это старая сказка, вот и все. Я много такой чепухи слышал, да не верил в нее, — ответил Пер.

— Но ты хорошо знаешь все эти истории; ты ведь давно тут трешься в этих местах. Расскажи же! Вот этот господин из города (он указал на меня) страсть любит такие истории.

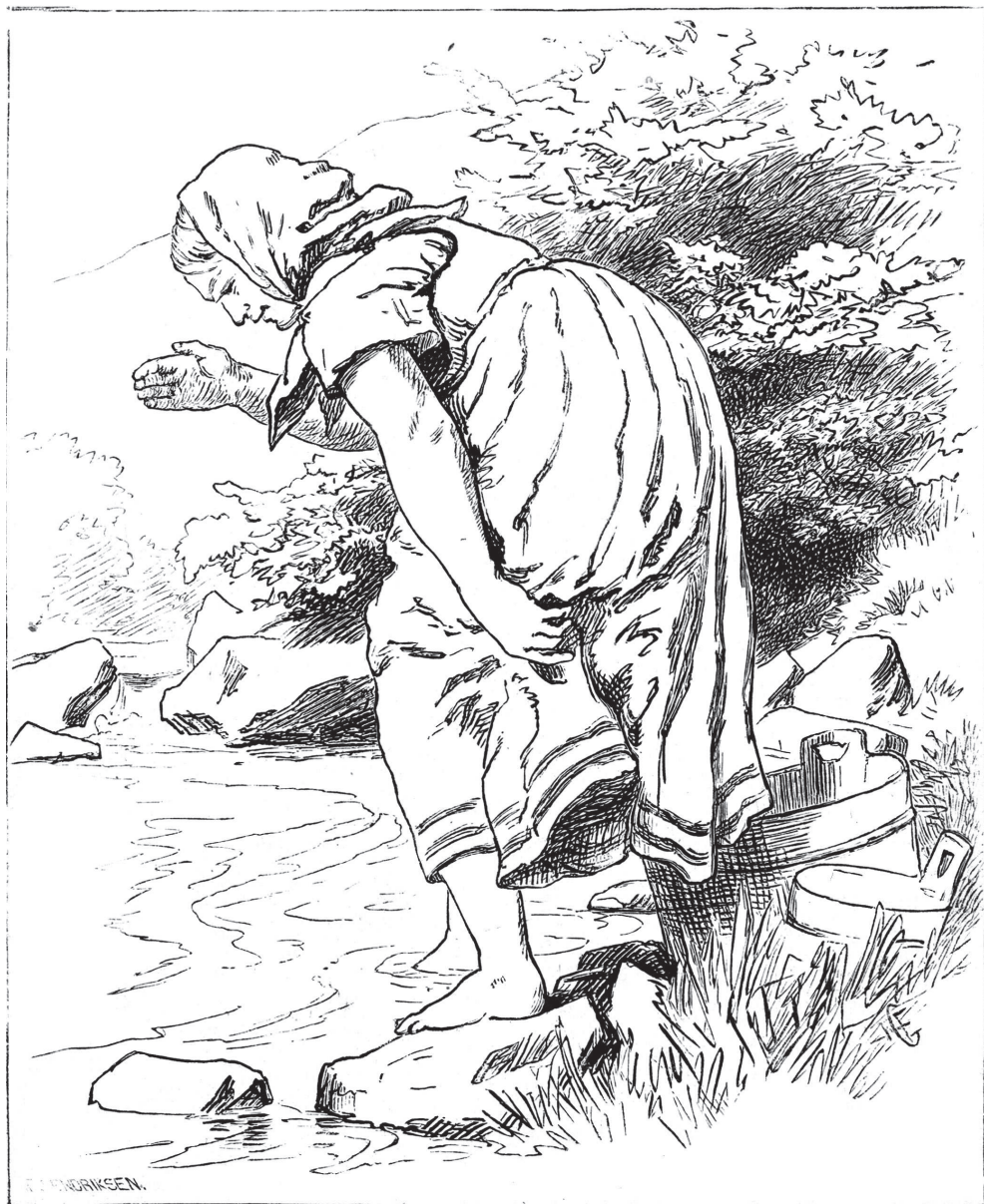
— Вот что? Рассказать отчего не рассказать, только я-то не верю ничему, — заверил Пер и начал. — Вам с вашего места, пожалуй, видны те горы. Они на юг от макушки Голеей. Там есть два горных кряжа; зовут их Большой кряж и Малый кряж. И там много старых брошенных рудников, а серебра и всяких сокровищ еще, говорят, непочатый угол. Только не даются они, — в кряжах-то, говорят, живет старая горная ведьма. Это все ей принадлежит, и она стережет свои богатства, как дракон. Она куда богаче короля Конгсберга. Раз, когда у того уж больно много повыгребли из горы серебра, он явился в рудник и сказал людям: «Скоро мне невтерпеж станет! Этак вы разорите меня вконец! Перебирайтесь лучше к сестре моей Гури Кнутан в Голейю, она вдесятеро богаче меня!»

— Так Гури Кнутан сестра и короля Эгеберга! — сказал я.

— Короля Эгеберга? Это какой такой? Из Христиании, что ли? — спросил Пер.



Я рассказал ему предание о короле Эгеберге и о его переселении к брату в Конгсберг, когда возле него в Христиании подняли в 1814 году<sup>1</sup> такой шум и гам, что он не выдержал.



<sup>1</sup> Намек на общее волнение и энтузиазм норвежцев в 1814 г. по расторжении унии, связывавшей Норвегию с Данией, когда в народе пробудились надежды на полную национальную самостоятельность страны (*примеч. переводчика*).

— Ну, тогда он брат и горной старухи, про которую я рассказываю, — наивно согласился Пер. — Я тоже слышал про одного горного короля, который переселился, потому что не вынес шума и грохота. Но этот был отсюда, из наших мест. Был ли это муж старухи или другой кто — не знаю, но уж, наверно, один из этой породы горных богачей. Когда только начинали рыть рудники в Скаутском поле, жила там у Лангесейского ручья, что протекает между Согне-долиной и Тюристрандом, одна женщина; звали ее Реннау. Раз, около Иванова дня, рано утром она полоскала в ручье белье. Глядит, а на самом дне-то все серебро, серебро... Тут и блюда серебряные, и ложки, и всякая посуда... Лежит все на дне и так и блестит на солнышке. У нее даже в голове помутилось от такого богатства. Кинулась она домой за лоханкой, чтобы все забрать, прибежала назад, а серебра и след простыл. Ни единой серебряной монетки не осталось, одна вода блестит, переливается по камешкам. Вскоре затем начали там добывать медную руду. Пошел стук, гром с утра до вечера. Поздно вечером Реннау ходила к ручью. Глядит, навстречу ей едет на большой черной лошади толстый человек. А впереди него целый обоз возов с разным добром и стадо овец и другого скота.

«Здравствуй, Реннау! Я переезжаю!» — говорит он. — «Вижу, вижу, а зачем?» — спрашивает она. — «О, вы такую стукотню подняли тут, что голова трещит. Мне невтерпех; переезжаю к брату в Телленмаркен. Но послушай, ты, Реннау, зачем ты такая жадная? Увидала в ручье серебро и захотела всю мою посуду забрать. А не жадничала бы, взяла бы, сколько могла в подол, и было бы у тебя серебро!»

— С тех пор, — продолжал Пер, — ничего такого и не слышно в этих краях. Либо взаправду те переехали, либо прячутся. Пожалуй, эта чертовщина и не смеет теперь появляться, потому что народ перестал верить в нее.

— А ведь ты и сам не знаешь, какую истину сказал! — воскликнул капитан. — И поумнее нас с тобой люди говорят то же самое. Ну, а ты все-таки рассказывай, что знаешь про своих троллей!

После многократных понуждений капитана Пер далеко за полночь занимал нас сказками, преданьями и рассказами о своих охотничьих приключениях. Время от времени и капитан со своей стороны рассказывал какую-нибудь историйку, которая обыкновенно заключала кое-какие колкие намеки на того или другого ушедшего от выстрелов Пера Мишку. Пер в ответ на это неукоснительно корчил самые невинные рожи и почесывал у себя за ухом. Капитан же иной раз, лукаво подмигивая, приговаривал: «Это ты на свой счет запиши, Пер Сандакер!»

Около полуночи мы улеглись перед огнем на скамьях и вздремнули. Когда мы проснулись, Пер объявил, что пора идти на ток. На дворе было изрядно холодно, снег подмерз и хрустел под ногами. Зато небо было совсем весеннее, ясное, голубое, легкие облачка, плывшие с юга, предсказывали, что ночной холод долго не продержится. Месяц низко стоял над горизонтом и вместо того, чтобы светить нам в нашем ночном странствии, только отбрасывал мягкий

свет на далекие взгорья и верхушки дерев, и, просвечивая между стволами сосен, погружал все окружающее в фантастический полусвет, удлинял тени до бесконечности, рисовал сказочные силуэты между стволами, и лес от этого становился таинственным, глубоким, страшным.

Безмолвие леса нарушал только нежный утренний гимн реполова.

— Вот уж запела самая ранняя из птишек! — сказал Пер. — Скоро весь лес оживет; надо торопиться.

— Время есть, милейший! — сказал капитан. — Глухарь охотнее всего токует на взгорье между нами и Лендальским болотом, да я думаю, что сегодня ничего не выйдет — слишком холодно.

— Утром станет теплее, — настаивал Пер, — ветерок с юга тянет и, по моему, сегодня они разыграются вовсю, благо прошедшие-то ночи холодны были. Вы послушайте только, как бойко скрипит кулик. Ждет хорошей погоды. И бекас блеет! Хорошо будет! — добавил он уверенным тоном.

Мы услышали своеобразный крик ночного кулика, похожий на кваканье лягушки, сопровождаемый резким шипеньем, в свою очередь напоминающим щебетанье трясогузки. При слабых лучах заходящего месяца мы различали силуэты этих птиц, перепархивавших в верхушках деревьев. Услышали мы и неприятный блеющий крик бекаса, то удаляющийся, то приближающийся, то раздающийся где-то высоко в воздухе, то над головами у нас, то чуть не под самым ухом, то во всех местах сразу, а самой птицы различить не могли. Вдруг дикий, пронзительный крик цапли заглушил остальные птичьи голоса; все пернатое царство, точно охваченное внезапным страхом, сразу смолкало при каждом ее вскрике, который благодаря наступавшей вслед за тем тишине производил еще более жуткое впечатление. Но тут слышались ясные звонкие трели лесного жаворонка, и его утренняя песенка, говорившая среди предрассветных сумерек о светлом блеске дня, составляла живой контраст со зловещими, неприятными криками ночных птиц.

— Зазвонил «глухариный звонарь»! — сказал капитан. — Так зовут шведы эту милую веселую птичку: стоит ей запеть, и глухарь затягивает на своем ночлеге утреннюю песню. Подождем пока здесь, — мы неподалеку от того места, где сели вчера последние глухари. Если подойти ближе, пожалуй, спугнешь их.

Простояв, прислушиваясь, несколько минут, мы услышали щелканье глухаря шагах в двухстах.

— Скорее всего это тот молодчик, что и давеча драл глотку! — сказал Пер. — Диво будет, если ему не зададут трепки! Старик не пожалеет когтей.

Капитан предложил мне на выбор — отправиться туда, где слышалось щелканье птицы, или забрать севернее, где, как он предполагал, уселись молодые. Я предпочел первое. Капитан отправился своей дорогой, а мы с Пером стали прокрадываться вперед с величайшей осторожностью, избегая замерзшего снега и хрустящего валежника. Когда глухарь начал токовать,





мы приостановились на минуту, но затем во время каждого скирканья или токования подвигались вперед на несколько прыжков. Во время щелканья и ударов мы, конечно, не двигались с места. Когда мы таким порядком очутились от дерева, где сидел глухарь, шагах в сорока-пятидесяти, мы услышали, как другая птица с шумом обрушилась на то же дерево, и вслед затем раздались удары сцепившихся клювов и хлопанье крыльев. Это старик сделал предсказанный визит сопернику своему на утреннем концерте. Во время борьбы мы на несколько прыжков еще пододвинулись к дереву, но тут свист крыльев возвестил о легкой победе и бегстве чужака. Все опять стихло ненадолго. Затем заклохотала тетерка, и тотчас же глухарь повел свою игру: начал щелкать и отбивать удары, и мы уже занесли было ногу для прыжка во время скирканья, как вдруг раздалось хлопанье крыльев, и птица перелетела на другое дерево, где снова повторила свой плутовской прием.

— Я так и знал! — сердито промолвил Пер. — Теперь он опять за свое. Нет никакого смысла целиться в него, — все равно что целиться в облака! Нет, заберем лучше и мы к северу; там много молодых сидят, авось хоть один соберется с духом подать голос, даром что они побаиваются этого оборотня, черт бы его взял!

— А ты знаешь, где старик встречает солнышко? — спросил я.

— Еще бы! — ответил Пер. — На сосне, на горке, внизу, возле болота. Да его там не достанешь, сосна-то страсть высокая.

— Надо пройти туда, — сказал я, — но раз по-твоему лучше идти к северу, то мы так и сделаем сначала.

Мы шли некоторое время по выбранному направлению, прошли мимо огромной гранитной глыбы, которую Пер называл Мьельне-Рагнгильд, затем вдоль южного края Лендальского болота, но не слышали ни одного глухаря. Пер удивился, куда они все подевались, и наконец порешил, что схватка старика со смельчаком всех спугнула или так устроила, что они теперь не смеют пикнуть. Начало светать, когда мы услышали выстрел далеко к северу. Немного погодя раздался второй, который мы тоже признали за капитанский.

Пока мы шли по болоту к упомянутой сосне, Пер, шедший с явной неохотой, изливал свою досаду на нашу сегодняшнюю неудачную охоту, отрывисто приговаривая, обращаясь к самому себе:

— Только порох тратить даром... Нет, нет!.. Капитан, тот молодец!.. Одного, наверно, уложил... а пожалуй, и двух!.. Это не Сара-Андерс... У того дрянь ружье... у капитана лихо гремит.

— Утешься, Пер, — сказал я. — Может быть, нам удастся сцапать того запевалу!

— Ну тогда бы ловчак вы были! — сказал Пер. — Но он бестия, скажу я вам, и пуля его не берет.

Когда мы прошли по замерзшему болоту и вышли на горку, я, ввиду нашего предположения, что птица сядет на верхушку сосны и, следовательно, придется бить ее на дальнем расстоянии, вынул из дула дробь и зарядил ружье патроном, обвитым стальной проволокой. Пер поглядел и, недоверчиво качая головой, заметил:

— Да, как же! Поможет это много!

— Увидим! — кратко отвечал я.

Горка, на которой мы находились, лежала на большом болоте, точно островок. На самой макушке вздымалась пресловутая сосна, огромное мачтовое дерево, но все в дуплах. На восточном краю горки стояла другая сосна, такая же мощная, но кривая, перегнувшаяся над болотом. Буря сломала у нее верхушку, оставив только ее нижние, почти голые ветви, и они, точно мускулистые, мозолистые руки великана, простирались к серебряному ясному утреннему небу. Солнце стало восходить и золотило горные кряжи, мало-помалу освещая их темные очертания. Сумерки, однако, все еще окутывали болото, простиравшееся к югу насколько хватал глаз; лес вдаль тоже был в синеватой

дымке. Ночные птицы замолкли, но веселые лесные певцы наполняли воздух своими ликующими голосами; пеночка затянула свою монотонную песенку, зяблик, королек и крапивник пускали трели, тетерев-косач бранился и лопотал в вышине; дрозд-пересмешник смеялся во все горло и передразнивал всех, но иногда вдруг впадал в чувствительный тон и насвистывал что-то нежное, мелодичное. По другую сторону болота щелкал на верхушке глухарь. Самки лебезили, лопотали, гнусили и, должно быть, производили на певчих птичек такое же впечатление, какое бы произвели на нас наши бабушки, если бы вздумали толковать о любви и девичьих чувствах.

Мы стояли, скрытые можжевельником, на горке и с минуты на минуту ждали старика, но он что-то замешкался в своем гареме. Наконец, когда солнце позолотило верхушку сосны, он тяжело зашумел в воздухе и шархнулся не на высокую сосну, как мы ожидали, а на сломанную, которая склонилась над болотом.

В самом деле, птица была великолепная, настоящий великан. Она сидела на голой ветке, блестя на солнце своей светло-зеленой отливающей грудью. Следом за ним явилась самка и села на верхушку над нашими головами. В ту же минуту глухарь раздул перья, распустил крылья по ногам и, надувая зоб, сделал несколько шагов по ветке и затянул свою песню, распустив хвост веером. Я стоял, приложив палец к курку, напряженно выжидая решительного момента, когда он развернет крылья для полета: тогда легче было попасть в него на таком дальнем расстоянии. Под лопотанье самки он дощелкал до конца и уже отбил удары, как вдруг у меня под ногой хрустнула ветка. Самка издала резкий предостерегающий звук, но старик вошел в такой азарт, что пропустил мимо ушей добрый совет и продолжал свое, пока верная его подруга не снялась с места и не подлетела к нему вплотную, точно желая столкнуть его с ветки. Очнувшись от шума ее крыл, старик распустил свои, готовясь сняться, но я спустил курок, и огромная птица кувырком полетела вниз. Агония была коротка — всего два-три трепыханья крыл.

Пер прыгнул за птицей в болото, схватил ее, и лицо у него вытянулось от изумления, но вслед за тем все осклабилось. Он покачал головой и сказал:

— Скажи кто другой — не поверил бы, будь то хоть сам капитан. Ведь это — он сам! Я узнаю его по клюву: такого желтого, крючковатого, толстого нет ни у одного глухаря. Глядите, грудь-то какая зеленая, так и отливает, и какой тяжелый, грузный! — продолжал Пер почти с детской радостью, взвешивая его на руке. — Право слово, с полпуда будет! Вот так выстрел! Капитан-то, капитан-то обрадуется! Го-го, вы там! — закричал он, так что эхо прокатилось по горам. Скоро на болоте показался капитан с парнем, державшим собак. У каждого было по глухарю. Пер с торжеством приподнял нашу добычу и крикнул им еще издаലെка:

— Вот он, старик-то наш, капитан!

— Что ты болтаешь? — воскликнул тот и кинулся к нам. — Это старик? Вот так дело! Ну, его помянуть надо! — воскликнул он, вынул из ягдташа фляжку и серебряную чарку, налил, отпил сам и передал нам.



— Ну что, не говорил я, что капитан обрадуется? — ухмыляясь и поблескивая глазами, сказал Пер и отпил здоровый глоток из чарки. — Да, теперь, как мы покончили с этим чертом, веселее будет на току!

Обменявшись рассказами о наших приключениях, мы спустили свору. Улюлюканье наполнило лес. Скоро собаки залились по следу. Эхо вторило собачьему хору, а сердце так и прыгало от всех этих звуков, разносившихся в серебристом утреннем воздухе.







### Лопотун-Гусиное яйцо

Жали на поле пять баб; все были бездетные, и всем хотелось ребеночка. Вдруг видят в поле огромное гусиное яйцо, чуть не с человечесью голову.

— Я первая увидала! — сказала другая.

— Нет я, я первая! — завопили остальные.

Слово за слово, и так они разозлились, что вот-вот вцепятся друг в дружку. Но наконец как-то столковались и порешили, что яйцо будет общим, и они сообща, поочередно, высилят его.

Первая сидела на яйце неделю, важничала и била баклуши, а другие работали и за себя и за нее. Под конец одна из тех принялась язвить ее.

— Небось и ты до срока не вылупилась! — сказала та, что сидела на яйце. — А только сдается мне, что из яйца-то скорее выйдет человек; чудится мне, в нем кто-то лопочет: «Селедки, каши, каши с молоком!» Вот теперь поменяемся, ты будешь высиживать неделю, а мы тебя кормить!

Когда и пятая отсидела свою неделю, она явственно расслышала, как птенец лопочет в яйце: «Селедки мне, каши, каши с молоком!» Она взяла да проколупнула дырочку в скорлупе, и вот вместо гусенка оттуда вылез ребенок, урод ужасный, с огромной головой и маленьким туловищем, и, как вылез, сейчас же залопотал: «Селедки мне, каши, каши с молоком!» Так они и прозвали его: Лопотун-Гусиное яйцо!



Сначала-то они были рады и такому уроду. Да ненадолго! Он стал таким обжорой, что поедал все, что у них было. Сварят они горшок киселя или каши, думают — на всех шестерых хватит, а он враз один все слопает. И не захотели они держать его больше при себе.



— Я еще ни разу сыта не была с тех пор, как этот оборотень вылутился! — сказала одна. А Лопотун-Гусиное яйцо как услышал, что и другие говорят то же, сказал, что обойдется и без них. Коли им его не нужно, так и ему их не нужно! И ушел со двора.

Долго ли, коротко ли шел, пришел во двор к мужику, — а двор-то лежал в каменистом поле, — и просит работы. Мужику нужен был батрак, он взял его и велел ему убирать камни с поля. Лопотун-Гусиное яйцо давай таскать камни один за другим, и малые и большие, даже такие, что на нескольких лошадях не увезти бы, и все их в карман себе клал. Живо покончил все и спрашивает еще дела.

— Да ты же должен убрать все камни с поля! — сказал крестьянин. — Нельзя же кончить, если даже и не начал.

Лопотун-Гусиное яйцо сейчас в карман за камнями и в минуту целую гору из них сложил. Увидал мужик, что дело-то и впрямь покончено, и рассудил, что с таким батраком силачом надо держать ухо востро. Однако позвал его в дом; «Пора поесть», — говорит. Лопотун-Гусиное яйцо был того же мнения и съел в один присест все, что было приготовлено и для хозяев, и для работников, и все-таки сыт не был.

«Ну, на работу-то он ретив, да такой обжора, что твоя пропасть без дна! Не успеешь оглянуться, слопает и тебя самого со всем добром!» — подумал хозяин и сказал батраку, что больше дела для него нет и ему лучше всего отправиться прямо к самому барону во двор.

Лопотун отправился туда и сейчас же нанялся в работники, — там было вдоволь и еды, и работы. Взяли его служить на побегушках и помогать девушкам таскать воду, дрова и справлять всякую мелкую работу. Он спросил, за что же ему взяты сначала.

— Ну хоть дров пока накопи!

Только щепки кругом полетели, как он принялся колоть дрова; колол, колол и живо покончил со всем запасом дров, расколол даже все бревна, и плахи, и строевой лес — все, что было во дворе; пошел и спрашивает:

— А теперь что делать?

— Да коли себе пока дрова!

— А если нечего больше колоть?

Как так? Пошел смотритель в сарай, — правда! Да не только все дрова переколоты, а и бревна, и строевой лес тоже. Обидно! И смотритель велел Лопотуну сейчас же отправляться в лес и нарубить вновь столько же бревен, сколько он расколол на дрова, — иначе ему и есть не дадут!

Пошел Лопотун-Гусиное яйцо к кузнецу и велел выковать топор в тридцать пудов. После того отправился в лес, и за дело — валит и ели, и мачтовые сосны, и все что только нашлось на баронской даче и в бору. Он не обрубал верхушек, не обчищал нижних ветвей, а прямо так и рубил под самый корень; деревья и лежали, словно их ураганом свалило. Потом он наложил на сани огромный воз и впряг в него всех лошадей, но они с места его не сдвинули.

Тогда Лопотун-Гусиное яйцо уцепился за лошадиные головы, чтобы стащить лошадей с места, да и оторвал им всем головы. Выпряг он лошадиные туши, побросал их в поле, а воз потащил сам.

Явился он во двор, а барон с лесничим стоят на крыльце, ждут его на расправу. Лесничий-то видел, как Лопотун-Гусиное яйцо с лесом расправлялся, и доложил барону. Но когда Лопотун-Гусиное яйцо показался, таща за собой чуть не пол-леса, барон и рассердился, и испугался. С эдаким силачом надо поосторожнее!

— Вот так работник! — сказал барон. — А сколько же тебе нужно съесть враз? Ведь ты, верно, проголодался?

Лопотун-Гусиное яйцо объявил, что коли хотят накормить его досыта, надо сварить кашу из двенадцати бочек крупы. Зато уж после того он и передышку сделать может, пока снова захочет есть.

Скоро такую уйму каши не сварить, и ему пока велели натаскать в кухню дров. Он взвалил всю поленицу на сани и потащил, да застрял в дверях и опять чуть бед не натворил: как дернет сани — дом затрещал, чуть совсем не развалился. Когда обед был готов, Лопотуну послали кликать народ с поля. Он как гаркнет, — эхо словно гром прокатилось по горам и долам. Но показалось ему, что люди не больно торопятся на его зов, он и начал браниться с ними, а двенадцать человек так и совсем уложил.

— Двенадцать человек уложил! — сказал барон. — Ешь ты за двенадцатью-двенадцать, а работаешь?

— За стольких же с лишком! — сказал Лопотун-Гусиное яйцо.

Поел он, и велели ему идти на гумно молотить. Взял он, выдернул из крыши коньковый прогон и сделал себе из него цеп, а чтобы крыша не рухнула, всадил на место балки огромную сосну — как была, со всеми ветвями и сучьями, — потом начал колотить своим цепом по гумну, по сену, по соломе... И натворил же он беды! Зерно и шелуха все смешалось в облаке пыли; словно туча встала над баронским двором!

Когда он кончал свою молотьбу, в страну вошел неприятель. Барон и велел Лопотуну-Гусиное яйцо взять с собой народу и идти воевать. Барон-то надеялся, что его там ухлопают. Но Лопотун-Гусиное яйцо отказался от войска, — один пойдет.

«Что ж, тем лучше! Значит, наверняка отделаемся от него», — подумал барон.

Лопотун-Гусиное яйцо потребовал себе железную дубинку.

Отправили гонца к кузнецу. Тот выковал палицу в пять пудов, но Лопотун-Гусиное яйцо сказал, что ею разве только орехи колоть. Сковал кузнец палицу в пятнадцать пудов. «Ею разве только сапоги гвоздями подбивать!» Тут уж кузнец отказался. Тогда Лопотун-Гусиное яйцо сам пошел в кузницу и выковал палицу в пятьдесят пудов; поворачивали ее на наковальне сто человек. «С этой еще можно будет как-нибудь обойтись», — думалось Лопотуну-Гусиное яйцо.

Теперь нужно ему было дорожную кису для припасов. Сшили ее из пятнадцати воловьих шкур и битком набили припасами. Вот он и пошел в горы, — киса за спиной, палица на плече.

Как только неприятель завидел его, сейчас выслал к нему одного из своих спросить, будет ли он биться с ними.

— Погодите, дайте поесть, — сказал Лопотун-Гусиное яйцо, растянулся на холме и принялся уписывать припасы из своей огромной кисы.

Но неприятель ждать не стал, а принялся обстреливать его. Шум, треск и настоящий град из пуль!

— Что мне эти ягодки! — сказал Лопотун-Гусиное яйцо, и знай себе уплетает за обе щеки; киса-то, что твой вал, загрозила его от пуль.

Тогда неприятель принялся палить в него из пушек и мортир.

А он только ухмыляется, как его ядром зацепит.

— Пустяки! — говорит.

Тут бомба и влети ему прямо в глотку.

— Тьфу! — и он выхаркнул ее обратно. Вслед за тем ядро шлепнулось в масло с маслом, а другое выбило у него кусок из рук.

Рассвирепел он, схватил палицу, ударил по земле да как гаркнет!

— Что вы дуете в свои дуды? Куски изо рта у меня вырывать хотите своими ягодками? — И так застучал дубинкой, что горы затряслись, а неприятеля, как шелуху, ветром развеяло. И война кончилась.

Опять вернулся Лопотун-Гусиное яйцо ко двору и опять работы просит. Барон осердился, что никак его с рук сбить не может, и решил отправить его в ад.





— Ступай к черту, стребуй с него подать! — сказал барон.

Лопотун-Гусиное яйцо кису на спину, дубину на плечо, и марш. Идти было недалеко. Но когда он добрался до места, оказалось, что самого черта не было дома, — уехал на допрос, — а дома осталась только его мать. Она знать не знала, что за подать такая, и велела Лопотуну-Гусиное яйцо прийти в другой раз.

— Завтра, завтра, не сегодня! Врешь! — сказал он. Раз он тут, он тут и останется, пока не получит своего. Спешить ему некуда.

Но когда киса у него опустела, ему стало скучно ждать, и он приступил к чертовой матери: подай да подай ему подать!

— Ну нет! Не на таковскую напал! Упрется, так с места ее не сдвинешь, как вон старую сосну! — объявила она.

А сосна эта росла у входа в ад и была такой величины, что пятнадцать человек еле обхватывали ее. Но наш молодец влез на самую макушку да и закрутил ее, как ветку какую-нибудь, и спрашивает чертову мать — отдаст или нет она ему подать?

Тут уж не до споров было, живо собрала она ему кучу денег — сколько влезло в его кису. Забрал он ее и зашагал домой. Только ушел он, вернулся сам черт. Услыхал он, что Лопотун-Гусиное яйцо ушел с его казной, сначала обрушился на мать, а потом пустился вдогонку за молодцом. И вправду догнал: он-то был налегке, да догонял где пешком, а где и на крыльях, а Лопотун-Гусиное яйцо все шагало, да еще волок тяжеленную кису. Однако как завидел молодец черта, пустился наутек со всех ног, а палицей по воздуху крутит у себя за спиной, чтобы черт не схватил его. Черт и так, и сяк — никак не может ухватить палицу. Добрались до глубокой, широкой расселины; Лопотун-Гусиное яйцо перемахнул с одного края горы на другой, черт за ним; да сгоряча наткнулся на палицу, слетел в расселину и ногу сломал.

— Вот тебе подать! — сказал Лопотун-Гусиное яйцо барону и высыпал деньги на крыльцо, — затрещало, чуть не подломилось.

Барон поблагодарил его и обещал дать ему богатую награду и уволить его домой, если хочет.

Но тот одного только хотел — еще работы.

— Что мне теперь делать? — приставал он. Думал-думал барон и велел ему отправиться к горному троллю, который украл меч его деда из замка по ту сторону пролива; в этом замке никто и не смел жить.

Лопотун-Гусиное яйцо уложил в кису несколько возов с провизией и опять пустился в путь-дорогу. Долго ли, коротко ли шел он по горам, по долам, по диким скалам, только пришел он к высоким горам, где полагал найти тролля, укравшего дедовский меч у барона.

Но тролля не было снаружи, а в самую гору попасть Лопотуну никак было нельзя.

Взял он и пристал к артели каменотесов, что ломали камень тут в горах. Такого товарища у каменотесов еще не бывало; от его ударов гора трескалась, и отскакивали глыбы с дом величиной. Но вот пришло время отдохнуть

и закусить, берется Лопотун-Гусиное яйцо за кису, глядь, одного воза как не бывало, съеден дочиста.

— У меня самого аппетит здоровый, — сказал Лопотун, — но у того, кто тут побывал, еще лучше, — он и кости все съел!

Так прошел первый день, и на второй было не лучше. На третий день отправился Лопотун опять на работу и взял с собой третий воз, да и улегся позади него, — как будто спит.

Вдруг из горы выходит тролль о семи головах и давай пожирать припасы.

— Вот-то попирую! Сколько тут припасли для меня! — говорит.

— Ну, это еще посмотрим! — сказал Лопотун, ударил палицей — так все семь голов и скатились.

Потом вошел он в гору, откуда вышел тролль. Глядит, конь стоит и ест из бочки раскаленную золу, а позади него стоит бочка с овсом.

— Что ж ты не ешь овса? — спросил Лопотун.

— Да я повернуться не могу! — ответил конь.

— Так я поверну тебя!

— Нет, лучше оторви мне голову! — попросил конь.

Лопотун так и сделал. Конь-то и скинулся добрым молодцем. Рассказал он, как тролль захватил его в гору и заколдовал, и помог Лопотуну найти меч. Он был спрятан на кровати под тюфяком, а на кровати-то лежала старуха, бабка тролля, и похрапывала.

Вытащили они из-под нее меч, вышли и решили плыть домой морем. Только отплыли, прибегает на берег бабка тролля. Как ей достать молодцов? Дай выхлебаю все море! Пила-пила, поубавилось воды, а всего моря все-таки не выпила, — лопнула.

Вышли Лопотун-Гусиное яйцо с товарищем на сушу, и послал Лопотун сказать барону, чтобы тот прислал лошадей за мечом. Выслал барон четверку лошадей, они и с места не сдвинули меча; выслал восьмерик, потом дюжину — все то же, меч ни с места. Тогда Лопотун-Гусиное яйцо один взял и снес его барону.

Барон, увидав Лопотуна, глазам верить не хотел, но делать нечего, похвалил и обещал ему всякие милости. А Лопотун-Гусиное яйцо все свое: работы ему давай. Барон и велел отправиться ему в тот замок, в котором никто не смел жить, и оставаться там, пока не выстроит моста через пролив, чтобы люди могли переправляться туда. Если он справится с этим — барон щедро наградит его и даже выдаст за него дочку.

«Ему-то не справиться!» — усмехнулся Лопотун-Гусиное яйцо.

А из того замка еще никто живым не возвращался; все, кому приходилось ночевать там, оказывались изрубленными в куски или исщипанными насмерть, и барон полагал, что теперь-то наконец отделается от молодца.

Отправился Лопотун в путь; забрал с собой кису, здоровенный суковатый чурбан, топор, клин и связку сосновых щепок, да взял калеку-карлика с баронского двора.

Пришел к проливу, а там ледоход, и вода бурлит и несется, что твой водопад, но он себе преспокойно зашагал по воде и переправился на другую сторону.

Обогрившись и поев, он решил соснуть. Только немного он поспал, пошел такой треск и шум, точно весь дворец рушился. Дверь распахнулась, и выставилась разинутая пасть — от порога до самой притолки.

— Постой, вот тебе закуска! — сказал Лопотун и бросил в пасть карлика. — Да покажись мне; может быть, мы с тобой старые знакомые!

Так оно и было. Это сам черт тут действовал. И стали они в карты играть, — черту хотелось отыграть хоть что-нибудь из той подати, которую Лопотун отнял у его матери. Но сколько ни играли, все Лопотун был в выигрыше: он поставил кресты на самых лучших картах. И вот, когда он обыграл черта дочиستا, тому пришлось отдать Лопотуну все золото и серебро, что было в замке.

Вдруг огонь у них потух, и стало так темно, что нельзя было различать карт.

— Постой, сейчас нацеплю лучин! — сказал Лопотун, всадил топор в чурбан и всунул в щель клин, но чурбан был кривой, косой, суковатый и никак не хотел расколоться, как Лопотун ни колотил по клину обухом.

— Вот, говорят, ты больно силен! — сказал он черту. — Поплюй в кулак, всади когти и раздери чурбан; покажи, на что годеи.

Черт так и сделал, всунул оба кулака в щель и давай изо всех сил стараться разодрать чурбан, а Лопотун как выдернет клин, черт и очутился в тисках, а Лопотун еще принялся охаживать его топором по спине. Взмолился черт, просит выпустить его, но Лопотун и слышать ни о чем не хотел, пока черт



*A. Calmandu.*





*Но сколько ни играли, все Лопотун был в выигрыше...*

не пообещал никогда больше сюда не являться и не бесчинствовать здесь, да еще вдобавок выстроить к концу ледохода через пролив мост, чтобы людям можно было переезжать сюда во всякое время года.

— Тяжеленько это! — сказал черт, но делать было нечего, согласился и только выговорил себе первую душу, что перейдет через мост. Это будет мостовая пошлина.

Лопотун на это согласился, освободил черта, и тот отправился домой, а Лопотун улегся спать и проспал до бела дня.

Явился барон посмотреть — изрублен ли молодец в куски или нечистая сила защищала его. Долго пришлось ему шлепать по деньгам, пока он добрался до кровати; везде валялись груды золота и серебра, а сам Лопотун лежал и храпел.



— Спаси Господь меня и дочку мою! — сказал барон, увидав, что Лопотун живехонек. Да, все было отлично, нечего говорить, но и о свадьбе еще нечего было говорить, — мост-то не был готов.

Но вот в один прекрасный день и мост явился. Черт стоял на нем и требовал выговоренной пошлины.

Лопотун предлагал было барону попробовать с ним мост, но у того не было ни малейшей охоты. Тогда Лопотун сам уселся на коня, а впереди себя на седло посадил баронскую скотницу, толстую-претолстую, ни дать ни взять чурбан, и поехал с нею по мосту; только загромыхало!

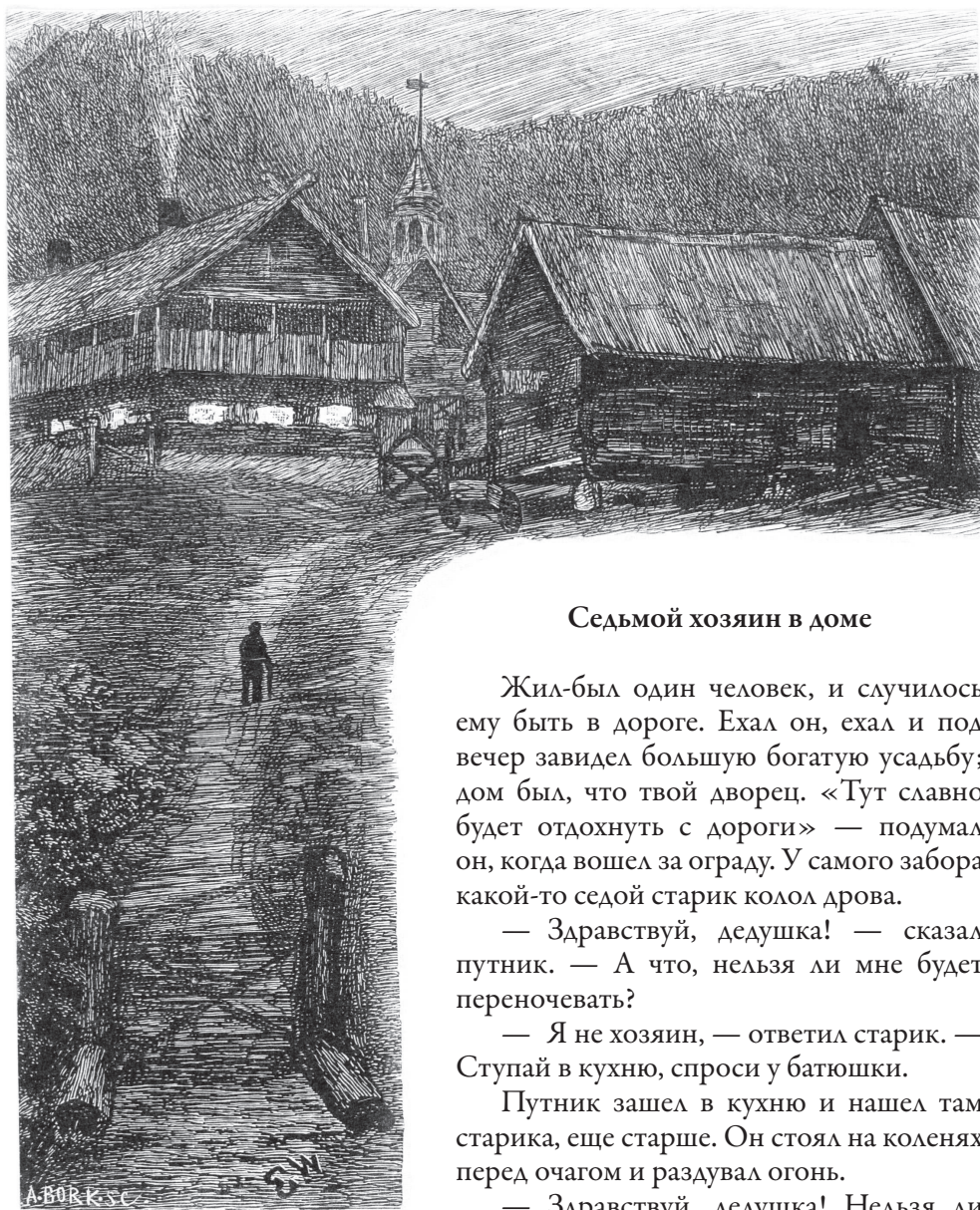
— А где же пошлина? Где душа? — крикнул черт.

— Она тут вот, в чурбане! Хочешь взять, так поплыви в кулак и вытащи! — сказал Лопотун-Гусиное яйцо.

— Нет, спасибо! Лишь бы она меня не взяла, а я-то ее брать не буду! — сказал черт. — Один раз ты меня защемил, в другой раз не удастся! — сказал и — поминай его как звали, улетел к своей матери; с тех пор и слыхом о нем не слышали.

А Лопотун-Гусиное яйцо вернулся к барону за обещанной наградой. Барон начал вилять, чтобы как-нибудь отделаться от своего обещания, и Лопотун сказал, что лучше всего будет, если барон приготовит здоровую кису с провизией, а награду уж он сам себе возьмет. Когда киса была готова, Лопотун-Гусиное яйцо вывел барона во двор да и дал ему пинка, так что барон взлетел на воздух, а вслед за ним, чтобы он с голоду не умер, Лопотун швырнул и кису с провизией. Так вот, если тот еще не вернулся, значит, и до сих пор болтается с своей кисой между небом и землей.





### Седьмой хозяин в доме

Жил-был один человек, и случилось ему быть в дороге. Ехал он, ехал и под вечер завидел большую богатую усадьбу; дом был, что твой дворец. «Тут славно будет отдохнуть с дороги» — подумал он, когда вошел за ограду. У самого забора какой-то седой старик колол дрова.

— Здравствуй, дедушка! — сказал путник. — А что, нельзя ли мне будет переночевать?

— Я не хозяин, — ответил старик. — Ступай в кухню, спроси у батюшки.

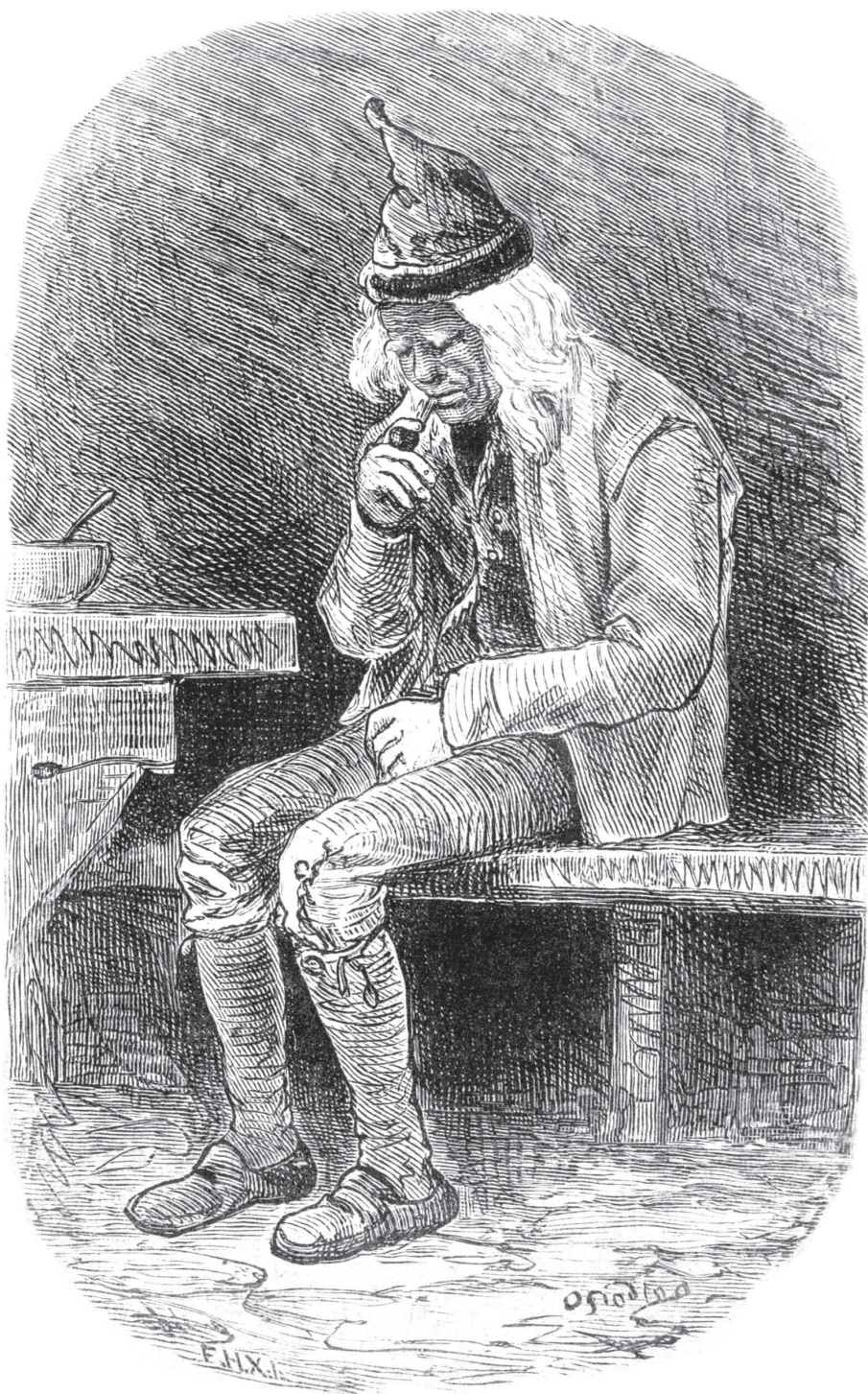
Путник зашел в кухню и нашел там старика, еще старше. Он стоял на коленях перед очагом и раздувал огонь.

— Здравствуй, дедушка! Нельзя ли мне у вас переночевать? — сказал путник.

— Я не хозяин, — сказал старик. — Ступай в горницу, поговори с батюшкой моим. Он там у стола сидит.

Путник вошел в горницу. Там у стола сидел старик, еще древнее первых, трясся так, что зуб на зуб у него не попадал, и читал по складам большую книгу, словно малый ребенок.





— Здравствуй, дедушка! Нельзя ли мне у вас переночевать?

— Здравствуй, дедушка! Нельзя ли мне тут переночевать? — спросил путник.

— Я не хозяин, спроси у батюшки моего; вон на скамейке сидит! — прошамкал старик, стуча зубами и трясясь.

Путник подошел к тому старику, что сидел на скамейке и возился с трубкой; он хотел набить ее табачком, но его всего так согнуло от старости в три погибели, и руки у него так тряслись, что трубка чуть не падала у него из рук.





— Здравствуй, дедушка! Нельзя ли мне тут переночевать? — спросил его путник.

— Я не хозяин, — ответил сгорбленный старик, — поговори с моим батюшкой, он в постели лежит.

Путник подошел к постели. Там лежал древний-древний старик; душа у него, кажется, только в одних глазах и держалась.

— Здравствуй, дедушка! Нельзя ли мне здесь переночевать? — спросил путник.

— Я не хозяин; поговори с моим батюшкой, он в люльке лежит, — сказал глазастый старик.

Подошел путник к люльке. В ней лежал старик, такой древний, что весь съежился и был с новорожденного ребенка, не больше. В горле у него изредка похрипывало; по этому только и можно было догадаться, что он жив еще.

— Здравствуй, дедушка! Нельзя ли мне тут переночевать? — спросил путник.

Долго ему пришлось ждать ответа, а еще дольше тянулся самый ответ. И этот старик, как другие, сказал, что не он хозяин в доме, и направил путника к своему батюшке, что «на стене в рожке висит».

Оглядел путник стены и наконец увидел рог. Заглянул туда — чернеет что-то вроде кучки золы; чуть похоже на лицо человеческое. Испугался он, да как крикнет с испуга:

— Здравствуй, дедушка! Нельзя ли мне тут переночевать?

Из рога послышался слабый писк, и путник скорее догадался, чем услышал: «Да, сынок!».

Тут явился стол со всякими кушаньями, с пивом и водкой. А когда путник напился, наелся, явилась и постель, покрытая оленьими шкурами. И рад же был путник, что добрался-таки до настоящего хозяина в доме.



### Рассказы старухи Берты

Лисицу окружили и застрелили; поминки по ней справили у ленсмана<sup>1</sup>; выпили и поплясали вечером. Во внимание к трудовому дню, пожатым лаврам и трем четвертям мили предстоявшего мне обратного пути хозяин позволил нам всем разойтись вскоре после 11 часов, а мне вдобавок предложил лошадь. За такое предложение стоило сказать спасибо, но так как проезжая дорога была вдвое длиннее, то я предпочел отправиться восвояси, как явился — на лыжах. Шкуру лисицы и ружье за спину, палку в руки и — марш. Лыжный путь был чудесный: день выдался солнечный, а вечерний морозец покрыл глубокий снег тонкой ледяной корочкой; на небе ярко сиял месяц и горели звездочки. Чего больше? Стрелой летел я по холмам и долинам, через рощи, между стройными колонками берез, верхушки которых образовывали точно серебряные навесы для сов, сидевших тут, пугая друг друга в тишине ночи страшными рассказами.

<sup>1</sup> *Ленсман* — исполнительный полицейский чин в сельских местностях скандинавских стран (*примеч. ред.*).





*Стрелой летел я по холмам и долинам...*



Где-то, напуганный гутуканьем сов и прохваченный февральским морозом, жалобно закричал заяц; лисица, выйдя искать приключений, перебралась с соперницами и испускала насмешливо-злобные крики.

Мне пришлось некоторое время держаться проезжей дороги, и меня нагнал на маленьких санках парень в тудупе. Признав во мне по ружью и трофею, висевшему у меня за спиной, охотника, парень вступил со мной в беседу и сказал, что когда я спущусь к реке, то, верно, встречу стаю волков, — он с холма видел, как они переходили по льду. Поблагодарив его за предупреждение, я пустился дальше и добежал до обрыва. Внизу, до самой реки тянулся сосновый лесок и застилал вид на реку. Волков не было видно. Я и продолжал путь бегом в тени сосен; только в ушах свистело, да ольховые кусты хлестали меня по щекам. Несясь стрелой, трудно, конечно, разбирать дорогу, и вот я с размаху налетел на пень, переломил одну из лыж и уткнулся головой в снег. Подымаясь, я почувствовал такую боль в ноге, что почти не мог ступить на нее. Пришлось ползком отыскивать в снегу ружье, которое наконец и нашел, с обоими стволами, забитыми снегом. Едва я успел засесть в засаду на берегу реки, как показались плетущиеся волки; их было пять! Я поджидал их с нетерпением истинного охотника. Когда они были уже шагах в сорока, я приложился и спустил курок сначала у одного ствола — осечка, потом у другого — этот дал выстрел, но затяжной, и пуля пролетела между верхушками сосен на другой берег. Волки встрепнулись и во всю прыть пустились наутек.

Сердитый, встал я на ноги; ногу ломило еще сильнее, и я, подпираясь ружьем вместо палки, побрел по реке, чтобы разобрать, где, собственно, захожусь. К радости своей, я увидел по ту сторону дымок, подымавшийся над верхушками сосен, а затем и просвечивавшую между стволами крышу. Я сразу узнал местность. Это был Туппен-гауг, хутор, принадлежавший к усадьбе, где я жил. С большим трудом протатился я шагов сто в гору, взбираясь на крутой холм, и за то был вознагражден видом яркого огня, пылавшего в очаге и светившего в окна. Доковыляв до дверей, я приподнял скобку и вошел в горницу, как был, весь запушенный снегом.

— Господи Иисусе! Кто это? — испуганно сказала старуха Берта и выпустила из рук окорок, с которым возилась, сидя на скамейке у очага.

— Добрый вечер, не бойся; ведь ты знаешь меня, Берта? — сказал я.

— Да это студент так запоздал сегодня! А я-то было перепугалась. Лезет весь белый, в снегу, и так поздно! — сказала Берта, вставая. Я рассказал ей свое приключение и попросил ее разбудить кого-нибудь из парней, чтобы послать его в усадьбу за лошадьё и санками.

— Ну что, не говорила я, что серый будет мстить! — пробормотала старуха себе под нос. — Вы не хотели мне верить, сделали на него облаву. Вот прошлый год Петр и сломал себе ногу. Теперь увидали, что он мстит! Да-да, — и с этими словами старуха направилась к постели в углу, где храпели вповалку все обитатели хутора. — Ола! Вставай! Надо идти за лошадьё для студента! Ола! Встань же!

— О-хо-хо! — прогнул Ола, укутываясь одеялом. Он слишком разоспался, чтобы так скоро дать поднять себя на ноги, и прошла целая вечность, пока он протирает глаза, позевывал, почесывался, задавал невпопад вопросы, высвобождаясь из-под груды спящих, надевал штаны и куртку и наконец-то понял толком, чего от него требовали. Посул на водку ускорил прояснение его мыслей и даже прогнал страх проходить мимо березы, на которой повесился Оле Аскерудсбротен. Во время переговоров между белоголовым Олой и старухой Бертой я успел рассмотреть обстановку горницы; тут были ткацкие станки, прялки, стулья, понаделанные из чурбанов, метлы, бочонки, обухи, куриные нашестви с курами, старое ружье, подвешенное к потолку, шест, стоявший под бременем навешанных на него мокрых чулок, и много еще всякой всячины, перечислением которой не хочу утомлять читателя.

Когда Ола наконец убрался, Берта уселась на краешек печки. Старуха была разодета по-праздничному, то есть в таком наряде, какой носили старухи на ее родине, в Гаделанде, откуда она переселилась сюда: в синей кофте, отороченной тканой тесьмой, в черной, заложеной складками юбке и в чепце с лопастями и бантом на затылке. Острые, подвижные, косо прорезанные глаза, выдающиеся скулы, широкий нос и желто-коричневый цвет лица выдавали чужой монгольский тип и делали старуху несколько похожей на ведьму; немудрено, что она слыла первой знахаркой во всем округе.

Удивляясь тому, что она еще не ложилась, я спросил, уж не ждала ли она гостей, что так разоделась.

— Нет, — отозвалась она, — я сама была давеча там, в Уллене; звали мерять одну женщину<sup>1</sup>, а потом еще ребенка отчитывать от аглицкой болезни<sup>2</sup>. Ну вот, я недавно только и добралась до дому, даром что подвезли меня до самого постоянного двора.

— Так, пожалуй, как посмотрю, ты и с вывихом справишься, Берта? — спросил я как можно серьезнее.

— Еще бы не справиться! Небось, как плохо было Сири Нордигорен, пока я не пришла, хоть там и пачкали ее доктор да сама матушка Недигорен вместе! — сказала старуха с недоброй усмешкой. — И коли господин студент верит, — продолжала она, недоверчиво глядя на меня, — то отчего же не заговорить глоток водки; не повредит!

— Ну, заговаривай свою водку и приходи; наверно, поможет! — сказал я, желая как-нибудь проникнуть в знахарские тайны Берты.

Старуха достала из разрисованного цветами шкафчика низенький графинчик с водкой и рюмку с деревянной подставкой, налила в рюмку водки, поставила рюмку в сторонку на очаг и помогла мне разуться. Потом она

<sup>1</sup> Суеверный обряд, заключающийся в том, что знахарка с разными заклинаниями и церемониями меряла ниткой больного, страдающего упадком сил (*примеч. переводчика*).

<sup>2</sup> *Английская болезнь* — устаревший синоним рахита (*примеч. ред.*).

принялась крестить рюмку и нашептывать на водку, но так как сама-то была туга на ухо, то ее шепот оказался довольно громким, и я слышал от слова до слова все заклинание:

Ехала я на лошадке своей,  
Ногу себе повредила она;  
Мясо на мясо, на кровушку кровь  
Стала я класть, и здорова она.

Тут шепот перешел в неясное бормотанье, закончившееся четырехкратным «тьфу» на все четыре стороны.

Потом она опять уселась на край печурки. Холодная, быстро испаряющаяся спиртная влага, которую старуха вылила на мою воспаленную ногу, приятно освежила ее.

— Уже действует, Берта! — сказал я. — Но объясни мне, что такое ты нашептывала?

— Ни за что! Ты еще наговоришь на меня пастору да доктору! — возразила Берта с лукавой усмешкой, показывавшей, что не очень-то она боится обоих. — Да и тот, кто научил меня, взял с меня обещание, что я не открою этого ни одному крещеному человеку, только кровному своему. Я и клятву дала, да такую страшную, что и не приведи бог больше так клясться.





— Ну так нечего и спрашивать тебя об этом, — сказал я, — но ведь не тайна — *кто* тебя научил этому? Должно быть, ловкий знахарь?

— Да, уж это верно, что ловкий. Сам дядюшка Мадс из Хура, — ответила Берта. — Он на все мастер был — и ворожить, и нашептывать, и мерять, и заговаривать кровь и всякие болезни; ну да, признаться, и колдовать, и напускать порчу тоже умел. Он и научил меня. Да вот как ни умен был, а сам от колдовства не уберегся.

— Как так? Разве он был заколдован? — спросил я.

— Нет, этого-то с ним не случилось, — сказала старуха. — А только раз вышло с ним такое, что он потом ходил, точно оплеванный, не в себе. Наваждение такое было. Вы вот, пожалуй, и не верите, — продолжала она, испытующе поглядывая на меня, — но ведь он мне дядей приходился, и сам не раз рассказывал и божился, что все так и было.

Дядюшка жил в долине Хур и частенько хаживал в горы рубить дрова и пилить бревна. И была у него привычка там и заночевывать. Сколотил он там себе шалаш, раскладывал у входа костер да и спал себе в шалаше всю ночь. Раз также вот рубил он еще с двумя товарищами лес, и только свалил здоровый ствол да присел отдохнуть, как вдруг к самым его ногам скатился с горы клубок. Чудно это ему показалось, побоялся он тронуть клубок, и хорошо, кабы так и оставил его. Да взглянул он вверх, на гору, откуда скатился клубок, а там сидит девушка и шьет. И такая красавица, что так вот и сияет вся. «Подай мне клубок!» — говорит она. Он и подал, да долго с места не мог сойти, все любовался на нее — налюбоваться не мог, такой она показалась ему сдобной. Наконец, надо же ему было опять взяться за дело. Поработал он с часок, да и опять поглядел на гору — девушки уже не было. Но целый день она у него из головы не шла: диковинно ему это все казалось. Вечером, когда пришло время ложиться спать, он захотел непременно лечь в середине между товарищами. Да мало толку! Ночью она явилась, и ему волей-неволей пришлось идти за нею. Вошел он с ней внутрь горы, а там все так разукрашено, разубрано, что он в жизни ничего такого не видал. Пробыл он у нее там трое суток. На третью ночь под утро проснулся опять между двумя своими товарищами. Те думали, что он ходил домой за припасами; он так и сказал им. Но с тех пор он долго не в себе был; сидит-сидит, да вдруг как начнет скакать, а потом пустится со всех ног бежать. Находило на него, значит.

Прошло уже порядочно времени, и раз рубил он жерди для изгороди в поле. Только забил клин в чурбан, глядит — жена ему из дому обед принесла, жирную кашу, и в таком светлом, блестящем котелке, точно из серебра.

Она села на опрокинутый чурбан, а он отложил топор и уселся на пень рядом, да вдруг и заметил, что она прячет в трещину чурбана длинный коровий хвост. Понятно, он и не дотронулся до еды, а потихоньку вытащил из чурбана клин, так что хвост-то ущемился, да перекрестил котелок. Откуда у нее прыть взялась! Вскочила так, что хвост оборвался; хвост остался сидеть в тисках, а ее самой и след простыл. Котелок оказался простой берестянкой, а каша

коровьим пометом. После того он просто не смел ходить в лес, — все боялся, что она будет мстить ему.

Но вот лет через пять пропала у него лошадь, и пришлось ему идти отыскивать ее. Только вошел он в лес, как очутился в какой-то хижине, у каких-то людей. Он и понять не мог, как попал туда. По горнице ходила уродливая баба, а в углу сидел ребенок, так лет четырех. Баба взяла большущий жбан с пивом и подошла к мальчишке: «Ступай, снеси отцу глоток пива!». Дядюшка так испугался, что давай бог ноги. С тех пор он и не видывал и не слыхивал ничего такого, а только долго не мог оправиться, точно шальной ходил.

— Ну, так не искусный знахарь он был, а дурень, твой дядюшка Мадс! — сказал я. — Иначе бы он сумел справиться с таким колдовством. Впрочем, эта история с клубком довольно забавна.

С этим Берта согласилась, но Мадс все-таки был первым знахарем на много верст кругом, — на этом она стояла твердо. Так, калякая со старухой, я попросил ее принести мой ягдташ, набил себе трубочку, а Берта подала мне зажженную лучинку и начала по моей просьбе новую историю.

Давно-давно однажды летом отправились девушки со стадами на сэтер в Галланде. Только немного напасли, — скот вдруг стал беситься, и не было с ним никакого слада. Много девушек пробовали пасти там, да нет, толку все не выходило, пока не явилась туда одна недавно просватанная девушка. Скот сразу присмирел, и теперь ничего не стоило справляться с ним. Девушка и осталась одна-одинешенька с собакой. Однажды после обеда кажется ей, что пришел ее жених и стал говорить ей, что пора им свадьбу сыграть. Она сидела, не шевелясь, и ничего не отвечала, — ей как-то не по себе было. Мало-помалу собралось много народа, начали накрывать столы, ставить серебряную посуду, кушанья, явились подружки с венцом и роскошным нарядом для невесты; ее одели, украсили ей голову венцом, как тогда было в обычае, и надели ей на палец кольцо.

Люди вокруг были ей все знакомые, женщины и девушки — подружки ее. Но собака почуяла что-то неладное, пустилась вниз, в селение, и стала там лаять и выть, пока народ не пошел за нею.

Парень, жених той девушки, взял с собой ружье и пошел на сэтер. Поднялся он на горную площадку, глядит, кругом все оседланные лошади стоят. Подкрался он потихоньку к хижине и смотрит в щелку в дверь: все сидят там и пируют. Он сразу понял, что это наваждение, и дал выстрел поверх крыши. В ту же минуту дверь распахнулась и оттуда мимо него покатился клубок за клубком, один одного больше! Вошел он в хижину — невеста сидит в полном наряде, только кольца на мизинце не хватает, а то совсем готова.

«Что тут такое делается?» — спросил жених, озираясь вокруг. Серебро стояло по-прежнему на столе, но все чудесные кушанья превратились в мох, в поганки, в мухоморы, коровий помёт, лягушек и тому подобное. «Что это все означает? — продолжал жених. — Ты сидишь одетая, точно к венцу!»

«Что же ты спрашиваешь? — говорит невеста. — Сам сидел со мной все время и о свадьбе толковал».



*...взглянул он вверх, на гору, откуда скатился клубок, а там сидит девушка и шьет.*



«Нет, вот теперь это я, — сказал он, — а давеча, верно, кто-нибудь надел на себя мою личину».

Тут и невеста стала понемногу приходить в себя, но долго еще не могла совсем оправиться. Она рассказала, как все было, как ей казалось, что вокруг нее все родные и знакомые. Жених сейчас же взял ее с собой домой, а чтобы с нею опять не случилось какого колдовства, сейчас же и обвенчался с нею, пока она была еще в этом наряде. Венец и весь наряд и теперь еще сохраняются там в селении, в Мельбустаде.

— А я слышал, что это было в Вальдерсе! — сказал я.

— Нет, это было, как я говорю, в Галланде, а в Вальдерсе вот что случилось, как я слыхала.

Была тоже на сэтере одна девушка из Вальдерса, по имени Барбро. Раз сидит она за работой и вдруг слышит — далеко на горе кто-то кричит:

«Король Хокен, король Хокен!»

«Я!» — крикнул король Хокен так, что гул пошел по всем горам.

«Король Хокен, сын мой, хочешь жениться?» — крикнул тот же голос издалика.

«Хочу! Только на Барбро, которая пасет и работает тут на сэтере!»

«На ней! На ней!» — ответил голос, и Барбро так перепугалась, что не знала, как ей быть.

Вдруг, к ней в хижину входят один за другим люди с серебряными подносами и блюдами с кушаньями и питьями, несут ей платье и все уборы, венец, серьги и брошь. Накрыли столы, нарядили ее, — она и слова сказать не могла.

У этой девушки тоже был жених, и он как раз охотился в горах. Только вдруг на него напал такой страх, что его так вот и потянуло пойти поглядеть, что с невестой. Поднялся туда, смотрит — у хижины видимо-невидимо черных лошадей в старинной сбруе и седлах. Он сразу понял в чем дело, подкрался и заглянул в щелку: король Хокен сидит с невестой, а та в полном наряде.

«Теперь осталось только отвести глаза невесте!» — сказала одна из подружек.

Тут парень понял, что медлить нечего, взял старинную, полученную в наследство серебряную пуговицу, зарядил ею ружье и застрелил короля Хокена. Тут все гости вскочили, схватили короля и унесли. Кушанья превратились в червей, в мухоморы, в лягушек, которые соскочили с блюд и попрятались в щелях и трещинах. Только и осталось, что наряд невестин да одно серебряное блюдо; они и посейчас хранятся в доме.

Берта рассказала еще много историй. Наконец снег закрипел под полозьями саней, и у дверей зафыркала лошадь.

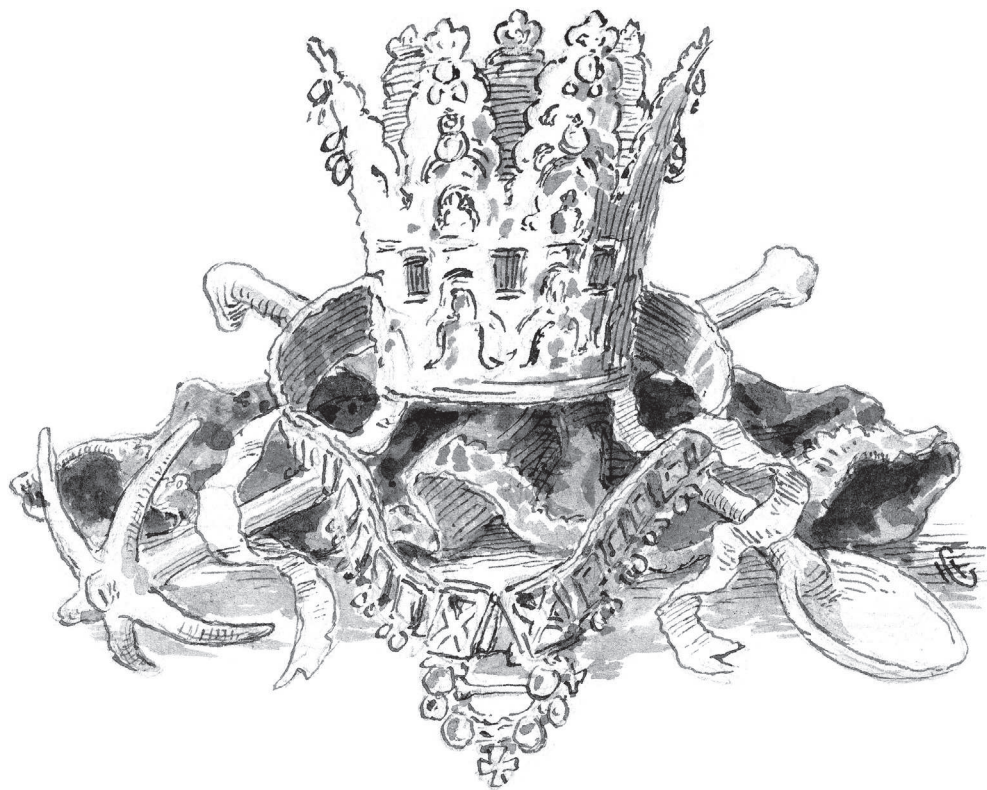
Я сунул Берте в руку несколько монет за ее лечение и беседу и через четверть часа был дома. Примочки из уксуса и холодной воды скоро вылечили мою ногу. Когда же Берта пришла в кухню и стала хвастаться, что это она



*Он сразу понял в чем дело, подкрался и заглянул в щелку...*



виновница моего быстрого выздоровления, дети не выдержали, прокричали ей в уши заклинание, которое я сообщил им, и стали спрашивать ее, неужели она может верить, что рюмка водки и такая вздорная болтовня исцеляют болезни. Это поселило в ней недоверие ко мне, и она хоть и не раз еще рассказывала мне разные чудесные истории, но уж ни за что больше не хотела сдаваться на мои хитрые уговоры приподнять передо мной краешек завесы, скрывавшей ее знахарские тайны.







### Кузнец, которого побоялись впустить в ад

В дни земного странствия Св. Петра зашел он к одному кузнецу. Кузнец продал душу черту и через семь лет обязался отдать ее, если черт сделает его за это время кузнецом из кузнецов. Под договором и черт и кузнец оба подписались. Вот кузнец и надписал над дверями кузницы большими буквами: «Кузнец из кузнецов». Петр пришел, увидел вывеску и зашел к кузнецу.

— Кто ты? — спрашивает у кузнеца.

— Прочти над дверями! — говорит кузнец. — Да может быть, ты неграмотен? Так подожди кого-нибудь, кто тебе прочтет.

Петр не успел еще ответить, как подъехал человек на лошади и велел кузнецу подковать ее.

— А не могу ли я подковать? — говорит Петр.

— Попробуй! — говорит кузнец. — Уж так не испортишь, чтобы я поправить не мог.

Петр взял, отнял у лошади одну ногу, положил копытом в горн, раскалил подкову докрасна, потом забил гвозди и опять приставил ногу к лошади. Покончив с одной ногой, Петр взял другую переднюю и с нею то же сделал;

потом взялся за задние ноги, сначала за правую, потом за левую, положил их в горн, раскалил подковы добела, забил гвозди и приставил ноги к месту. Кузнец стоял и смотрел.

— Ты таки недурной кузнец, — говорит Петру.

— Ты думаешь? — говорит Петр.

Немного погодя пришла мать кузнеца звать его обедать. Старая она была, сгорбленная, вся в морщинах, еле ноги таскала.

— Смотри и примечай! — говорит Петр кузнецу. Взял старуху, сунул ее в горн и выковал из нее молодую красавицу.

— Да, я уж сказал, что ты недурной мастер! — говорит кузнец. — Над дверями у меня написано: «Кузнец из кузнецов», но я от души скажу: «Век живи, век учись»! — С этими словами он пошел домой обедать.

Вернулся он назад в кузницу, и приехал туда на лошади человек; говорит, надо подковать лошадь.

— Это мы живо! — говорит кузнец. — Я как раз выучился по-новому подковывать. Отличный способ на спешку.

И давай пилить и ломать у лошади ноги; все пооторвал.

— А то возись тут еще с ними по одной-то; была охота! — говорит.

Положил он ноги в горн, как видел, Петр делал, подложил углей и заставил мальчишек поддувать. Но, как и следовало ожидать, ноги сгорели, и кузнецу пришлось заплатить за лошадь. Не очень-то это было ему по вкусу, но тут как раз мимо проходила старуха, он и думает: «Одно не удалось, другое удастся!» Схватил старуху и всадил ее в горн. Та вопить, просить пощады; кузнец и ухом не ведет.

— Ты от старости из ума выжила, своего добра не понимаешь! Ты в мину-ту молодой станешь, а я с тебя и гроша не возьму за ковку!

И со старухой не лучше вышло, чем с лошадиными ногами.

— Худо ты сделал! — говорит Петр кузнецу.

— Ну, кому она была нужна! — говорит кузнец. — А только черту срам, — вот как он держит слова, что на дверях написаны!

— А если бы я пообещал исполнить три твоих желания, — говорит Петр, — чего бы ты пожелал?

— А ты попробуй — вот и узнаешь! — говорит кузнец.

Петр обещал, кузнец и говорит:

— Во-первых, пусть тот, кого я попрошу влезть вон на то грушевое дерево во дворе, там и останется, пока я не велю ему слезть. Во-вторых, пусть тот, кого я посажу вон на то кресло в кузнице, так и останется сидеть, пока я не велю ему встать. В-третьих, пусть тот, кого я попрошу влезть в мой кошелек из стальной проволоки, что у меня в кармане, там и останется, пока я не выпущу его.

— Дурной ты человек! — говорит Петр. — Тебе бы прежде всего пожелать милосердия Господня к тебе, грешнику.

— Ну, так высоко я не залетаю! — говорит кузнец. Тут Петр простился с ним и пошел дальше.

Время все шло, и вот наступил срок — черт явился за кузнецом, как было сказано в договоре.

— Ты готов? — спрашивает черт, сунув нос в щелочку дверей.

— Только вот покрою гвоздь шляпкой! — говорит кузнец. — А ты пока полезай на грушевое дерево, сорви себе грушу полакомиться. Проголодался, небось, с дороги.

Черт поблагодарил и взлез на дерево.

— Да, как пораздумаю, — говорит кузнец, — так мне не покончить с этим гвоздем раньше, чем через четыре года. Чертовски твердое железо! Слезть с дерева ты не можешь, так сиди себе пока и отдыхай там.

Черт взмолился, и так и сяк упрашивает, чтобы кузнец позволил ему слезть, а тот знать ничего не хочет. Пришлось наконец черту пообещать, что он оставит кузнца в покое еще на четыре года, как сказал кузнец.

— Ну, тогда слезай! — говорит кузнец.

Когда и этот срок истек, черт опять явился за кузнецом.

— Теперь-то уж ты готов? — говорит он кузнецу. — Покрыв свой гвоздь шляпкой?

— Покрывать-то покрыв, да все-таки ты чуточку рановато явился, я еще не заострил гвоздя. Такого твердого железа сроду мне не попадалось. А пока я обтачиваю гвоздь, ты присядь вот на кресло, отдохни; устал, я думаю, порядком?

Черт поблагодарил и уселся на кресло. Только уселся, кузнец опять и говорит, что, как подумает хорошенько, то не окончить ему гвоздя раньше, чем через четыре года. Черт сначала стал просить кузнца выпустить его, а потом рассердился и давай грозить. А кузнец только извиняется, — делать, мол, нечего, такое уж твердое железо попало, — да утешает черта, что зато сидеть ему так спокойно, удобно, и что через четыре года, минута в минуту, он будет свободен.

Делать нечего, пришлось опять черту пообещать, что он придет за кузнецом только через четыре года. Тогда кузнец позволил ему встать, и черт живо удрал восвояси.

Через четыре года черт опять явился за кузнецом.

— Теперь ты, конечно, готов! — говорит черт, сунув нос в дверь.

— Готов! — говорит кузнец. — Сейчас и отправимся. Только стоял я вот тут да все раздумывал: правда ли черт может съежиться, коли захочет?

— Правда! — говорит черт.

— Ну так сделай мне одолжение, влезь в мой кошелек и погляди, крепко ли дно у него. Он такой тесный, что мне руки не всунуть, а я боюсь растерять в дороге свои деньги.

— Хорошо, — говорит черт, съежился и влез в кошелек, а кузнец взял да и защелкнул замок.

— Кошелек твой цел! — говорит черт.

— Это хорошо, — говорит кузнец, — а только лучше быть крепким передним умом, чем задним. Надо будет на всякий случай заклепать звенья.



И он положил кошелек в горн и раскалил его.

— Ай-ай! Ты в уме ли? Или забыл, что я тут сижу? — вопит черт.

— Делать нечего, — говорит кузнец, — по пословице: «надо ковать железо, пока горячо».

И кузнец положил кошелек на наковальню, взял самый большущий молот да и принялся бить им по кошельку изо всей мочи.

— Ай-ай-ай! — вопит черт. — Дружище, только выпусти меня, никогда больше не приду!

— Ну, так я думаю, теперь хорошо заклепано! — говорит кузнец. — Теперь ты можешь выйти.

Открыл он кошелек, а черт без оглядки наутек. И след его простыл.

Через несколько времени кузнецу и вспало на ум, что ведь худо он сделал, поссорившись с чертом. «В рай-то мне все равно не попасть, некуда и деваться будет, раз я поссорился с хозяином ада». — И порешил он, что чем скорее, тем лучше будет попытаться пристроиться куда-нибудь — в рай или в ад; по крайней мере, без приюта не останешься. Закинул он молот за спину





*Черт поблагодарил и уселся на кресло.*

и зашагал. Дошел до того перекрестка, где дороги в рай и в ад расходятся, и нагнал тут портнишку. Тот идет себе, подпрыгивает да утюгом помахивает.

— Здравствуй! — говорит кузнец. — Ты куда?

— В рай, коли пустят, — говорит портнишка. — А ты?

— Ну так нам не по пути! — говорит кузнец. — Я сперва хочу толкнуться в ад, — с чертом-то я знаком маленько.

Распростились они, и каждый пошел своей дорогой. Кузнец был крепкий, здоровый малый и шагал быстрее портного, так что скоро очутился у ворот ада и велел страже доложить черту, что тут, дескать, один человек хочет поговорить с ним.

— Спросите сначала, кто таков! — говорит черт страже.

— Кланяйтесь черту и скажите, что это тот самый кузнец с кошельком, — он уж знает! — говорит кузнец. — Да попросите его, пожалуйста, поскорее впустить меня; я вплоть до полудня работал сегодня да этакий путь прошел.

А черт как узнал, кто пришел, сейчас велел страже покрепче запереть все девять замков на воротах ада.

— Да еще повесьте висячий замок! А то, коли кузнец ворвется сюда, он весь ад верх дном поставит! — говорит черт.

— Ну, тут мне нет приюта! — говорит кузнец. — Надо попробовать в рай толкнуться! — Повернулся налево кругом и пошел назад до перекрестка, а там свернул по той дороге, по которой портнишка шел. Сердит он был, что даром такой конец сделал, и зашагал так быстро, что подошел к вратам рая как раз в ту минуту, когда Св. Петр приотворил их, чтобы портнишка мог проскользнуть в рай. Кузнец же был еще шагах в шести-семи от ворот. «Э, да тут зевать некогда!» — подумал он, схватил молот и швырнул его в отверстие ворот вслед за портнишкой, чтобы ворота за ним закрыться не успели. Ну, а уж если кузнец не пролез в это отверстие, так я и не знаю, где он теперь.





### Три козла

Жили-были три козла, которые должны были отправиться на сэтер нагулять себе жиру, и всех трех звали козлами-кипятунами. По дороге надо было перейти по мосту через водопад, а под мостом-то жил страшный старый тролль, с глазами, точно оловянные тарелки, и носом, точно шест от грабель. Сначала пошел через мост самый младший козел. «Скрип-скрип, скрип-скрип», раздалось в мосту.

— Кто это скрипит по моему мосту? — крикнул тролль.

— Это я, младший козлик; иду на сэтер нагулять жирку! — сказал козел тоненьким голоском.

— А вот я и сцапаю тебя! — сказал тролль.

— Нет, не трогай меня, я такой маленький, а вот за мной идет средний братец, он побольше.

— Ну хорошо! — сказал тролль.

Немного погодя пошел по мосту средний козел. «Топ-топ, топ-топ», отдалось в мосту.

— Кто это топает по моему мосту? — крикнул тролль.

— Я, средний козел, иду на сэтер нагулять жиру! — сказал козел; у этого голос был грубый.

— А вот я и сцапаю тебя! — сказал тролль.

— Нет, не трогай меня; погоди, за мной идет старший козлище, огромный.

— Ну хорошо! — сказал тролль.

Вдруг на мост взошел старший козлище. «Грох-грох-грох-грох», загромыhalo в мосту, такой тяжелый был этот козлище.

— Кто это громыхает по моему мосту? — крикнул тролль.

— Я, козлище-материще! — проревел козел грубым, страшным голосом.

— А я вот и сцапаю тебя! — крикнул тролль.

— Сунься мне на рога,  
Забодаю врага;  
Будешь ты и без глаз,  
Вот и весь тебе сказ! —

проревел козел, да как налетит на тролля, выколол ему глаза, забодал его и сбросил в водопад, а сам пошел себе на сэтер. Там козлы так разжирели, что просто не смели и домой показаться, и коли не попустили с себя жиру, такими и остались. Вот и сказке конец.





— А вот я и сцапаю тебя! — сказал тролль.



## Пер Гюнт

Жил-был в старину стрелок; звали его Пер Гюнт. Он вечно бродил по горам да стрелял медведей и оленей; в те времена лесов на горах было куда больше, и водилось в них страшное зверье. Раз поздней осенью отправился он в горы. Все пастухи и пастушки вернулись уже с сэтеров домой; только три пастушки еще замешкались на своем сэтере. Когда Пер поднялся на Гевринг, — он хотел ночевать на одном из сэтеров, — было темным-темно, не зги не видно. А собаки вдруг как залятся, ему даже жутко стало. Прошел немного и наткнулся на что-то; ощупал — что-то холодное, липкое, большое. Что бы это такое? С пути он, кажется, не сбился, а понять не может, на что такое наткнулся... Даже мороз по коже пробежал

— Кто тут? — спросил Пер, когда *оно* зашевелилось.

— Лихо! — отозвалось в ответ.

Перу Гюнту это ничего не объяснило, но он свернул с дороги, — думает: «Куда-нибудь да выйду». Вдруг опять наткнулся на что-то; ощупал — что-то большое, холодное, липкое.

— Кто это? — спросил он.

— Лихо! — отозвалось опять в ответ.

— Ну, кто бы ты ни был, пропусти меня! — сказал Пер; он понял, что попал в заколдованный круг.

Лихо отодвинулось, и Пер прошел на сэтер. И внутри загородки было не светлее. Пришлось пробираться по стенам ощупью, отставить ружье и положить в сторону сумку. Вдруг он опять ощупал руками что-то большое, холодное, липкое.

— Кто это? — крикнул Пер.

— Большое Лихо! — отозвалось в ответ, и Пер, куда ни поворачивал, всюду натыкался на Лихо.

«Дело плохо, — подумал Пер, — если Лихо и снаружи и внутри; но я все-таки справлюсь с этим упрямцем». Взял он ружье, вышел и стал ощупью добираться до головы Лиха.

— Кто тут? — спросил он, ощутив башку.

— Я, большое Лихо Этнэ-долины! — сказал тролль. Пер приложился и дал три выстрела через голову ему.



*Пер Гюнт*

— Выстрели еще раз! — сказала Лихо. Но Пер знал, что если он выстрелит еще раз, то попадет в себя. После того Пер с собаками взяли за тролля и оттащили его, так что могли наконец попасть в хижину. А в это время кругом гремел хохот.

— Пер Гюнт хорошо тащил, а собаки еще лучше! — слышался голос.

Утром Пер Гюнт собрался на охоту. Вышел он и увидел женщину, которая манила овец и козлов на скалу. Когда же он поднялся туда, ни женщины, ни скота уже не было, а только стадо медведей.

«Вот сроду не видал, чтобы медведи стадами ходили», — подумал Пер, но когда подошел поближе, и медведи исчезли все, кроме одного. А из-за скалы слышалось:

Поросенка береги, —  
Пера Гюнта принесло,  
Да с хвостом позади!

— Нет, беда-то Перу самому, а не поросенку моему; Пер не умывался сегодня! — отозвалось в ответ со скалы. Пер живо sprysнул руки водой, что у него всегда при себе была, и застрелил медведя. В скале захохотало и загремело:

— Эх, берег бы поросенка-то!

— Я забыл, что у него лейка с собой! — отозвался другой голос.

Пер содрал шкуру с медведя, тушу сбросил по скату вниз, а голову и шкуру взял с собой. На обратном пути попала ему горная лисица.

— Гляди, ягненок мой, какая жирная! — раздалось в одной скале.

— Гляди, как высоко Пер поднимает хвост! — раздалось в другой, когда Пер поднял ружье и убил лисицу. И с нее он снял шкуру и взял с собой. Вернувшись на сэтэр, Пер воткнул головы с разинутыми ртами на колья изгороди. Потом он развел огонь и стал варить кашу. Но повалил такой дым, что все глаза ему выело, и он должен был открыть окошечко. Вдруг в окошко просунулся длинный-длинный нос, почти до самой печки.

— Вот тебе! Видал такой носище? — сказал тролль.

— А ты едал такую кашу? — сказал Пер Гюнт и вылил ему на нос кашу. Тролль заревел и бежать, а кругом во всех скалах и пригорках поднялся хохот и крики: «У Гури рыло в каше! Рыло в каше!»

Потом все стихло, но ненадолго. За дверями поднялся шум, гам. Пер выглянул и увидел повозку, запряженную медведями; они взвалили на нее большого тролля и въехали в скалу. Вдруг из трубы спустилось ведро с водой и залило огонь в очаге, так что Пер очутился в потемках. Во всех углах загоготало и заговорило:

— Ну, теперь Перу не лучше придется, чем пастушкам на Вала-сэтере!

Пер опять развел огонь, взял собак, запер хижину и пошел на север, к сэтэру Вала, где еще оставались три пастушки. Прошел он конец дороги, глядит — впереди зарево, весь Вала-сэтер точно в огне. В ту же минуту завидел



он стаю волков; одних застрелил, других убил прикладом. Пришел на Вала-сэтер — там темным-темно, никакого пожара, но в хижине было четверо чужих парней, которые забрались к девушкам. Это были четыре горных тролля; звали их Густ, Трон, Тестель и Рольф. Густ стоял за дверями настороже, пока другие сватались к девушкам. Пер выстрелил в него да не попал, и тот убежал. Когда Пер вошел, девушкам плохо приходилось; две были сами не свои от страха и только Богу молились, а третья, по имени Гайльн Кари, побойчее, не испугалась, а сказала, что они рады будут принять троллей: пусть приходят, им хочется посмотреть — на месте ли сердце у таких молодцов. Когда тролли заметили Пера, они начали жаловаться, что темно, и попросили Рольфа развести огонь. В эту минуту собаки набросились на Тестеля и повалили его на очаг, так что зола и угля разлетелись во все стороны.

— Ты видал моих змеек, Пер? — спросил Трон; это он так волков называл.

— Я и тебя отправлю вслед за твоими змейками! — сказал Пер и застрелил его. Потом убил Тестеля прикладом, а Рольф удрал через трубу. После того Пер проводил девушек домой; они не смели тут больше оставаться.

Под Рождество Пер Гюнт опять был на охоте. Слышал он, что в Девре есть такой крестьянский двор, куда в сочельник сходятся все тролли, так что хозяевам приходится на это время уходить к соседям. Пер был охотник до троллей, и захотелось ему пойти туда. Надел он платье похуже, взял с собой своего ручного белого медведя, дегтя, смолы, шило, щетинки с дратвой, зубчатые клещи да сапожный подпилочек и пошел. Пришел в тот дом и стал проситься переночевать.

— Господи помилуй! — сказал хозяин. — Нам самим-то приходится выбираться из дому, — к нам каждый сочельник видимо-невидимо троллей набивается.

Но Пер Гюнт объявил, что очистит им дом от троллей, ему и позволили остаться ночевать, да еще вдобавок свиную шкуру дали.

Медведь улегся за печкой, а Пер вынул шило, щетинку с дратвой и стал сшивать из свиной шкуры большой башмак. Потом продернул в края крепкую бечевку, чтобы можно было стянуть весь башмак, да приготовил клещи и подпилочек.

Вдруг появились тролли с музыкантами и скрипкой и давай кто плясать, кто поесть рождественское угощение, что стояло на столе, а кто поджаривать на очаге жир, лягушек, жаб и другие гадости; эту провизию они с собой принесли. Потом заметили они башмак, который Пер сшил. На большую, видно, ногу сшит! И вздумали они примерять его, да все зараз и влезли туда одной ногой; а Пер как дернет за веревку, защемил клещами и стянул башмак крепко-накрепко; вот они и сидели все в капкане. А тут медведь высунул нос на запах жареного.

— Поестъ захотела, белая кошка? — сказал один из троллей и бросил медведю в пасть жареную лягушку.



— Царапай, бей их! — сказал Пер Гюнт. Медведь рассвирепел и давай дубасить и царапать троллей, а Пер Гюнт схватил сапожный подпилочек да тоже начал гладить их, точно хотел с них шкуры содрать. Пришлось троллям убираться, а Пер себе остался и жил рождественской провизией все праздники припеваючи. С тех пор о троллях и слыхом не слыхать было много лет. Потом хозяину того двора понадобилось однажды около Рождества нарубить дров; вдруг в лесу подходит к нему тролль и кричит:

- А что, белая кошка еще у тебя?
- Лежит за печкой, да еще семь котят принесла, больше и злей самой!
- Ну так ноги нашей не будет больше у тебя! — ответил тролль.



### Мишка косолапый

Жил-был мужик, и отправился он за кормом для скота в горы, где у него был сделан на зиму запас ветвей с листьями<sup>1</sup>. Приехал на место, поставил лошадь с дровнями и стал вязать охапку побольше. А в ветвях-то зарылся на зиму медведь. Услыхал Мишка возню, как выпрыгнет, да так прямо на дровни и бух. Лошадь почуяла зверя и — во весь опор, точно и медведь, и дровни были у нее краденые. Мишка не из трусливых был, но и нельзя сказать, чтобы ему по вкусу была такая езда. Он вцепился в дровни изо всех сил и растерянно озирался во все стороны — как бы соскочить? Но так как он не привычен был ездить в экипаже, то и не смел ни на что решиться.

Проехал Мишка уж порядочный конец; навстречу ему разносчик:

— Куда это фогт<sup>2</sup> так спешит сегодня? — сказал разносчик. — Должно быть, далеко и скоро надо, что так торопится?

<sup>1</sup> При срубке леса стволы очищают от ветвей, которые вместе с листьями так и складываются в запас на зиму, для корма скоту (примеч. переводчика).

<sup>2</sup> Фогт (фохт) — здесь: староста (примеч. ред.).



Но Мишка ничего не ответил; ему только бы покрепче держаться. Немного погодя навстречу ему бедная женщина. Она поклонилась, прося Христа ради милостыньки у батюшки. Мишка опять ни слова, держится изо всех сил и катит во весь дух. Еще немного погодя навстречу лисица.

— Эге-ге! Да ты катаешься сегодня? — крикнула лиса. — Постой, погоди, прихвати меня на запятки!

Мишка ни слова, держится лапами и катит себе во всю лошадиную прыть.

— А, не хочешь, так я накликаю на тебя беду: сегодня кутишь, как барин какой, а завтра и шкуру долой! — крикнула ему вслед лиса. Но Мишка не слышал ни слова, катил да катил. Добежав до дому, лошадь с размаху влетела в конюшню, так что оборвала в воротах гужи и выпряглась из дровней, а Мишка разбил башку о столб и остался на месте.

А мужик-то знай побольше охапку вяжет. Потом потащил взвалить — ни дровней, ни лошади! Пришлось идти искать лошадь. Встретил разносчика и спрашивает, не видал ли он лошади с дровнями.

— Нет, я только фогта видел; проехал что есть духу, точно на пожар, — говорит разносчик.

Затем встретила бедная женщина.

— Не видала ли ты моей лошади? — спрашивает мужик.

— Нет; я только пастора видела; должно быть, причащать кого-нибудь спешил, так шибко ехал, да еще на дровнях.

Немного погодя встретила мужику лиса.

— Ты не видала ли лошади с дровнями? — спрашивает крестьянин.

— Видала, — говорит лиса, — только на ней Мишка ехал, да так, точно украл и лошадь, и дровни.

— Ах, чтоб ему! Загонит он у меня лошадь! — говорит мужик.

— Ну так сними с него шкуру да изжарь тушу. А если ты вернешь свою лошадь, так перевези меня через гору, я умею красиво ездить! — говорит лиса. — Да и хочется мне попробовать, как это так перед тобой четыре чужих ноги побегут.

— А ты что дашь за провоз? — спрашивает мужик.

— И еды, и питья, сколько твоей душе угодно! Во всяком случае, ты получишь от меня не меньше, чем от Мишки. Он ведь тут на расплату, когда проедется на лошадиной спине.

— Ну ладно, перевезу тебя через гору, — говорит мужик, — если ты завтра будешь ждать меня тут. — Мужик догадался, что лиса хитрит и хочет надуть его. Вот он и взял с собой ружье, и когда лиса подошла к дровням, чтобы прокатиться на даровщинку, мужик и всадил ей заряд в бок, потом содрал с нее шкуру. Вот у него была и медвежья, и лисья шуба!

## Поверья о мельничных тролях

Когда у меня бывали какие-нибудь неприятности, что вообще так часто случается, я обыкновенно предпринимал длинные прогулки за город и всегда находил в них успокоение от мелочных забот. Не помню, что такое расстроило меня в тот день, но ясно помню, как я несколько лет тому назад в один прекрасный летний день после обеда отправился бродить с удочкой в руках по берегам реки Акера<sup>1</sup>.

Чистый воздух, запах сена и цветов, щебетанье птиц, свежее веянье с реки и ходьба действовали на душу оживляюще. Когда я перешел через мост около устья, солнце начало склоняться к западу, то прячась за облачка и окрашивая их в самые дивные цвета, чтобы те хоть краткий миг могли покрасоваться в чужом уборе и поглядеться в прозрачные волны, то прорываясь сквозь них и посылая косые полосы света в темный хвойный лес по ту сторону реки. Вечерний ветерок навевал прохладу после жаркого дня и приносил с собой аромат сосен, а отдаленное кукованье кукушки наводило легкую грусть. Машинально следил я за извивающимися по течению заброшенными мной удочками с мухами. Вдруг какая-то золотистая рыба выпрыгнула на поверхность, леса развилась, я подсек, и удилице изогнулось почти в обруч. Видно было, что попалась здоровенная форель, и уже не время было увлечься запахом сосен и кукованьем: приходилось напрячь все внимание, чтобы подвести добычу к берегу. Течение тут было сильное, и сама рыба билась, а я еще на грех не захватил с собой сачка. Пришлось развить всю лесу и потом водить рыбу на кругах, пока наконец удалось завести ее в маленькую бухточку, откуда я уже счастливо вытянул добычу на берег. Это оказалась большая, красивая рыба, вся в красных крапинках, и фунта в три весом.

Я продолжал удить, но мне стали попадаться на удочки лишь маленькие форели, и поймал-то я их всего с десяток. Когда я направился к лесопильне, уже стало смеркаться; все небо затянулось облаками; только на западном краю горизонта светлела нежно-зеленая полоса, бросающая тусклый отблеск на сонную поверхность мельничного пруда. Я сошел на запруду из бревен

---

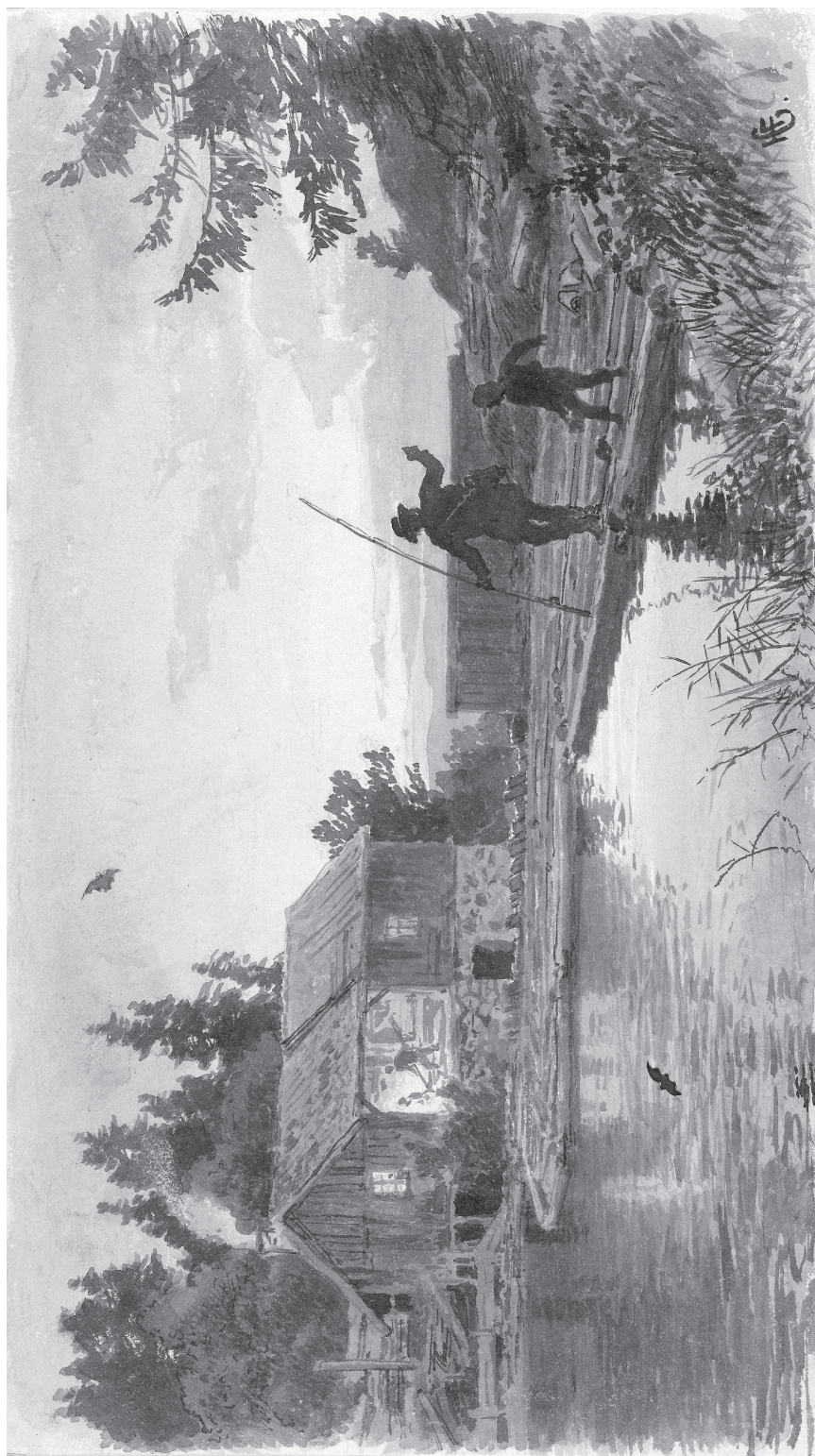
<sup>1</sup> Акер, Акерсэльва — река в столице Норвегии Осло (*примеч. ред.*).



и вновь забросил удочки, но толку не вышло. Нигде не шелохнулось; ветер как будто окончательно улегся на покой, и только мои удочки бороздили водяную гладь.

Какой-то мальчишка, стоявший позади меня на холме, посоветовал мне пустить в дело дождевых червей и вызвался достать насадку. Я последовал его совету, и попытка удалась сверх чаяния: сейчас же клюнула порядочная форель в два фунта, и я не без труда подвел ее к неудобной пристани. Но тем и кончилось; больше ни одна рыба не мутила спокойной глади воды; только летучие мыши, реявшие в воздухе, ловя насекомых, изредка задевали воду крыльями, и по ней разбегались дрожащие круги.





Какой-то мальчишка, стоявший позади меня на холме,  
посоветовал мне пустить в дело дождевых червей...

Передо мной открывалась внутренность лесопильной мельницы, ярко освещенная пламенем очага. Мельница была в полном ходу; колеса, рычаги, пилы вертелись, ходили ходуном, двигались как будто без всякого участия человеческой воли и руки, движимые прихотью водяных духов. Под конец, впрочем, я различил там несколько человеческих фигур. Одна из них зацепом ухватила из пруда бревно, чтобы втащить его по желобу наверх, и взволновала всю водяную поверхность. Другой рабочий торопливо вышел с топором в руках, чтобы направлять бревно. Свист, лязг, шипенье наводили на мысль, что тут сражаются, сшибаются мечами духи ночи; блестящая пила вдруг подымалась, точно меч великана, на воздух и врезывалась в бревно.

С севера, с реки потянуло холодком, заставившим меня вспомнить, что я промок и устал, и я решил зайти в лесопильню погреться и отдохнуть. Я крикнул мальчугану, который все еще стоял на берегу, чтобы он собрал мои плетушки с рыбой и шел за мной; скользкие бревна колебались и погружались в воду под моими ногами.

У очага сидел старый седой работник в красном колпаке, надвинутом на уши. Тень от печки скрывала его от моих взоров, когда я стоял на бревнах. Узнав, что я хочу отдохнуть и обогреться немножко, он сейчас же примостил мне к огню обрубок вместо табурета.

— Славная рыбка! — сказал старик, беря в руки последнюю мою добычу. — Должно быть, тут, в пруде поймали?

Получив от меня утвердительный ответ, старик, по-видимому, страстный рыболов, стал рассказывать мне, каких форелей лавливал он тут лет тридцать тому назад, когда только что прибыл из Гудбранд-долины, а затем с сокрушением сердечным начал жаловаться на убыль рыбы и прибыль опилок в пруде.

— Рыбы убывает, — говорил он, перекивая лязг и шипенье пил, — и нынче такие форели попадают редко. Опилки-то все прибывает, так что мудреного, если рыба нейдет сюда больше: откроет рот, чтобы глотнуть чистой водицы, а ей сейчас полное брюхо опилок, да гнилых стружек и набьется! Проклятые эти опилки... прости меня господи! Ведь все-таки лесопильня нам хлеб дает. Но не могу я не злиться, как подумаю, какая огромная рыба ловилась тут в старину.

Парнишка между тем тоже явился в лесопильню с моими плетушками, но, по-видимому, опешил от шума, лязга и визга. Осторожно ступал он ногами по половицам, и на лице его ясно отражались страх и изумление, наводимые на него клокотаньем и бурленьем воды между колесами, находившимися под полом, под его ногами.

— Как тут страшно! Хоть бы домой попасть поскорее! — сказал он.

— Разве ты не здешний? — спросил я.

— Ты кто такой, откуда? — спросил старик.

— Я из Старой деревни, к управляющему с письмом от ленсмана пришел. Да вот и боязно идти одному в потемках, — ответил мальчуган, который действительно все время держался невдалеке от меня.





Передо мной открывалась внутренность лесопильной мельницы, ярко освещенная пламенем очага.



— Стыдись, такой большой! — сказал старик, но затем прибавил ему в утешение: — Сейчас месяц выглянет, а вот тебе и попутчик.

Я пообещал довести трусишку до места, и это его как будто успокоило немного. Тем временем колеса остановили, и двое рабочих принялись оттачивать пилы, производя резкий, пронзительно-визгливый звук, от которого мороз подирал по коже. Звук этот так пронзителен, что иногда доносится из лесопилен до самого города. На нервы мальчугана звук, как видно, действовал самым угнетающим образом.

— У, ни за что не остался бы тут ночевать! — сказал он, озираясь вокруг, точно думая увидеть в углах или выходящих из-под полу водяных. — Я слышал от матери, что в лесопильнях и на мельницах много всякой чертовщины бывает! — прибавил он боязливо.

— Не знаю, не могу сказать ничего такого, — отозвался старик. — Правда, бывало иной раз задремлешь, а кто-то и выпустит воду, да еще слышал иногда какую-то возню за плотиной; видать же никогда ничего не видал. Нынче уж не верят во все такое, — продолжал он, вопросительно поглядывая на меня. — Ну, *они* и не смеют больше показываться. Люди больно умны и начитаны стали!

— Ты, пожалуй, прав, — сказал я, отлично замечая, что за этим взглядом что-то кроется и предпочитая вызвать его на рассказы, нежели рассуждать с ним по поводу его убеждения, что просвещение нечто вроде пугала для нечистой силы. — Ты, пожалуй, прав по-своему. В старину народ крепко верил во всякую нечисть; теперь же делает вид, что не верит, чтобы казаться умным и образованным, как ты говоришь. В горах, однако, слышно еще про нечистую силу, будто она показывается, заманивает людей к себе, и тому подобное. Вот ты послушай, — прибавил я, чтобы хорошенько расшевелить старика, — какая история однажды случилась — не помню только, где именно.

Жил-был один человек, у которого была мельница на водопаде, и жил там водяной. Давал ли водяному хозяин булку с маслом и пиво в сочельник, как это водится в некоторых местах, не знаю, но, должно быть, нет, так как всякий раз, как только бывало начнут молоть, он возьмет да и остановит вал. Хозяин знал, что все это штуки водяного, и однажды вечером пришел на мельницу с котелком смолы и развел под ним огонь. Потом пустил воду; сначала пошло было, но потом жернов остановился, как хозяин и ожидал. Он давай стучать по водяной трубе и вокруг постава<sup>1</sup>; нет, ничто не берет. Наконец открыл он дверцу, а там сам водяной стоит и пасть разинул, да так широко, что нижняя челюсть в порог, а верхняя в притолоку уперлась. «Ты такой зевот видал?» — спрашивает. Хозяин за котелок — а смола-то уж кипела — да прямо в пасть водяному и швырнул: «А ты такого горяченького пробовал?» — Водяной выпустил вал, да как заорет благим матом. С тех пор о нем ни слуха, ни духа не было; не мешал больше людям муку молоть!

<sup>1</sup> *Постав* — здесь: пара мельничных жерновов (*примеч. ред.*).

— Да, — сказал мальчуган, слушавший с любопытством, смешанным со страхом, — я это тоже слышал от бабки. Она еще другую историю рассказывала про одну мельницу. На ней никто не мог молоть, столько там было всякой нечисти. Только пришла как-то одна бедная женщина, — ей непременно надо было смолоть себе немного мучицы, — и просит позволение помолоть ночью. «Боже избави! — говорит хозяин. — Никак нельзя; нечистая сила и с тобой и с жерновами начнет такие штуки выкидывать!» Но женщина сказала, что ей непременно надо смолоть хоть горсточку муки, — детям есть нечего. Наконец хозяин позволил. Пришла она вечером на мельницу и развела огонь под котлом со смолой, который висел над очагом, пустила воду, а сама села у очага чулок вязать. Вдруг входит женщина и здоровается с ней: «Добрый вечер!» «Добрый вечер!» — говорит женщина и вяжет себе.

Вдруг та начала разгребать угли на шестке. Женщина опять собрала их в кучу.

«Тебя как зовут?» — спрашивает та.

«Сама!» — отвечает женщина. Подивилась та такому имени, а потом опять давай разгребать уголья. Женщина рассердилась, выбрала ту и опять сгребла уголья в кучу. Так они долго возились; наконец женщина улучила минутку да и опрокинула на ту котел с варом. Та кричать, выть, потом выбежала вон и кричит: «Отец, отец! Меня обожгли!»

«Кто?» — отозвалось в горе.

«Сама!»

«Ну, коли сама, так и терпи!»

— Ну, хорошо, что женщина так отделалась, — сказал старик. — А то могла бы сгореть вместе с мельницей. Я, когда еще дома жил, слышал такую историю. В старину это было. У одного человека мельница горела два раза, два года подряд, в самую ночь под Троицу. На третий год хозяин и говорит портному, который работал у него в доме обновки к празднику: «Как ты думаешь, на этот раз что будет? Опять сгорит моя мельница под Троицу?»

«Зачем ей гореть? — говорит портной. — Дай только мне ключ, я уж убею твою мельницу».

Хозяину это понравилось, и вот вечером портной получил ключ и пошел на мельницу; она была недавно отстроена и совсем пустая еще, так что он сел прямо на пол, взял мел и очертил вокруг себя круг, а в середине круга написал «Отче Наш». Теперь он ничего не боялся — приди хоть сам черт.

В полночь дверь вдруг распахнулась и ввалилось видимо-невидимо черных кошек. Живо подвесили котел и развели под ним огонь. В котле зашипело, забурило, точно там смола кипела. «Ого-го, — подумал портной, — вот оно что!» И только подумал, одна из кошек взялась лапой за котел, чтобы опрокинуть его. «Брысь, кошка! Обожжешься!» — крикнул портной.

«Портной говорит: брысь, кошка! Обожжешься!» — сказала кошка другим, и все отбежали от очага и принялись скакать и кружиться вокруг портного. Вдруг одна из кошек опять к котлу, чтобы опрокинуть его.



«Брысь, кошка! Обожжешься!» — крикнул портной и спугнул кошку.

«Портной говорит: брысь, кошка! Обожжешься!» — сказала кошка другим, и все ну опять плясать и прыгать. Потом вдруг все гурьбой кинулись к котлу.

«Брысь, кошки! Обожжетесь!» — крикнул портной и спугнул всех, так что они одна за другой спрыгнули с очага и принялись снова скакать вокруг него. Потом составили хоровод и так завертелись вокруг портного, что у него голова кругом пошла, а они так и глазели на него горящими глазами, точно съестъ хотели.

Вдруг та кошка, что все норовила опрокинуть котел, сунула лапу в круг, точно собиралась цапнуть портного, и опять отдернула. Тот живо снял с пояса ножик и ждет. Кошка опять сунула лапу в круг, а портной — тят! — и отрубил лапу. Все кошки с мяуканьем скорее в двери.

Портной улегся в своем круге и спал до позднего утра. Потом встал, запер мельницу и вернулся к хозяину.

Пришел домой, а хозяин с хозяйкой с постели еще не вставали, — праздник ведь был.

«С добрым утром!» — говорит портной и протягивает хозяину руку.

«С добрым утром» — говорит хозяин, а сам и радуется и дивится, что портной цел.

«С добрым утром, хозяйюшка!» — говорит портной хозяйке и тоже протягивает ей руку. А хозяйка что-то бледная, скучная, точно растерянная какая, и руку под одеяло прячет. Наконец протянула ему руку, да только левую. Смекнул тут портной, в чем дело, но как он рассказал об этом мужу и что было потом с бабой, мне не довелось узнать.



— Так мельничиха-то ведьмой была? — спросил мальчуган, следивший за рассказом с напряженным вниманием.

— Сам видишь! — сказал старик.

Больше нельзя было расслышать почти ни слова: опять задвигались пилы, и поднялся шум, лязг, визг и шипенье. Месяц уже взошел, а я успел немножко отдохнуть и потому, попрощавшись со стариком, отправился в путь вместе с трусливым мальчуганом.

Мы пошли по тропинке вдоль реки. Белый туман подымался с реки и болот и стлался над долиной. Из облаков дыма, стоявшего над городом, выступал Акерсхус<sup>1</sup> со своими башнями, вырисовывавшимися над зеркалом залива, в который врезывался длинной темной тенью мыс. Небо было не совсем чисто; кое-где неслись облака; бледный лунный свет, проступавший сквозь сумрак летней ночи, стушевывал очертание на заднем плане ландшафта, расстилавшегося перед нами. Зато фьорд отливал серебром, а горы, точно темные тучи, высоко громоздившиеся одна на другую, окаймляли вдали весь вид, точно рамкой.

Освеженные ночной росой фиалки и другие цветы струили свое благоуханье, а с болот и ручьев тянуло свежей сыростью, заставлявшей вздрагивать.

— У! Он дует на меня! — вскрикивал мальчуган, полагавший, что это холодное веянье исходит из уст ночных духов, и в каждом кусте, колыхаемом ветром, искавший тролля или кошку с горящими глазами.

---

<sup>1</sup> Старинная крепость (*примеч. переводчика*).

## О парнишке, который требовал с северного ветра свою муку

Жила-была одна старушка с сынишкой. Старуха была слабая, дряхлая и послала в клеть за мукой для кушанья сынишку. Вот спускается он по лесенке из клетки, откуда ни возьмись, налетел северный ветер и развеял всю муку. Парнишка сходил еще раз за мукой, но только вышел — ветер опять подхватил муку и унес; в третий раз то же самое. Рассердился парнишка: как это так ветер смеет бесчинствовать, и порешил отыскать его и требовать с него муку обратно.

Пустился он в путь, а дорога-то была не ближняя; шел-шел, наконец добрался до северного ветра.

— Здравствуй, — говорит парнишка. — Спасибо тебе!

— Здравствуй, — говорит северный ветер, а голосище у него такой грубый, — и тебе спасибо!

— А ведь я пришел к тебе за мукой, что ты унес у меня, когда я выходил из клетки; у нас и так мало, а если ты еще будешь у нас таскать добро, так нам только с голоду помереть!

— У меня нет муки, — говорит ветер, — но если ты такой бедный, вот тебе скатерть. Она тебе даст все, что нужно; скажи только: «Скатерть, развернись, напои-накорми меня!»

Парнишка обрадовался и пошел. Но так как до ночи ему было не обернуться домой, то он зашел на постоялый двор. Когда пришло время поужинать, он положил скатерть на стол в углу и сказал: «Скатерть, развернись, напои-накорми меня!». Не успел сказать, как все было готово. Всем, кто тут был, пришлось по вкусу такая штука, особенно самому хозяину постоялого двора. «Тогда ведь никаких хлопот ни с вареньем, ни с жареньем, ни с накрываньем, ни с уборкой, — то-то люблю!» И вот ночью, когда все спали, он стащил у парнишки скатерть и подсунул вместо нее другую, точно такую же с виду, но от этой уж овсяной лепешки не дождаться было.

Парнишка проснулся, забрал скатерть и отправился домой к матери. Пришел и говорит:

— Ну, был я у северного ветра; честный малый, — отдал мне за муку вот эту скатерть. Ей только скажи: «Скатерть, развернись, напои-накорми меня!», — и ешь себе, чего душа просит.



...налетел северный ветер и развеял всю муку.



— Так-то оно так, — говорит старуха, — только я не поверю, пока своими глазами не увижу.

Парнишка тотчас выдвинул стол, положил на него скатерть и говорит: «Скатерть, развернись, напои-накорми нас»; но скатерть и не думала развертываться и даже крошкой хлеба не угостила.

— Ну, делать нечего, придется опять идти к северному ветру! — говорит парнишка и пошел. Под вечер пришел туда, где жил северный ветер.

— Добрый вечер! — говорит парнишка.

— Добрый вечер! — говорит ветер.

— Я все-таки пришел требовать с тебя муку, что ты унес у меня, — говорит парнишка. — Скатерть-то твоя немного наслужила.

— Муки у меня нет, — говорит северный ветер, — на вот тебе козла, который сыплет червонцы, стоит только сказать ему: «Козлик, сыпь деньги!».

Парнишка, очень довольный, ушел, но так как он уже не мог поспеть домой до ночи, то зашел переночевать на постоялый двор. Прежде чем спросить себе чего-нибудь, он попробовал козла — не соврал ли ветер; нет, верно. А хозяин-то подглядел. Вот козел так козел! И когда парнишка заснул, он взял да и подменил золотого козла простым.

Утром парнишка отправился в путь, пришел домой и говорит матери:

— Все-таки славный малый этот ветер: теперь дал мне козла, который сыплет золото, стоит сказать ему: «Козлик, сыпь деньги!».

— Так-то так, — говорит старуха, — да все это слова одни; не поверю, пока не увижу своими глазами.



— Козлик, сыпь деньги! — говорит парнишка; козлик насыпал, только не денег.

Опять пошел парнишка к северному ветру и сказал, что козел никуда не годится, а потому он требует назад муку.

— Ну, теперь мне нечего дать тебе, кроме старой дубинки, что вон в углу стоит. Только если ты скажешь ей: «Дубинка, пошла!» — она будет дубасить, пока не скажешь ей: «Дубинка, смирно!»

Путь был опять не ближний, и парнишка зашел на тот же постоянный двор. Он уже смекнул теперь, как было дело, и сейчас же повалился на лавку и захрапел — будто заснул. Хозяин же успел подметить дубинку, — верно-де не простая! — и порешил и ее стащить. Отыскал другую такую же дубинку и хочет взять дубинку парнишки, а тот вдруг как крикнет: «Дубинка, пошла!». Дубинка и ну дубасить хозяина. Тот от нее по столам, по скамьям прыгать и вопить:

— Ой-ой-ой! Уйми свою дубинку, а то она до смерти меня убьет! И скатерть, и козла — все назад отдам, только уйми ее!

Когда парнишка нашел, что довольно с хозяина, он сказал: «Дубинка, смирно!». Потом спрятал скатерть в карман, дубинку взял в руки, козлу на рога накинуд веревку и пошел домой со всем своим добром.

Недурно расплатился за муку северный ветер!



### Заячий пастух

Жил-был один арендатор, который сдал землю и двор обратно владельцу, и осталось у него только трое сыновей: Пер, Поль и Эсбен Замарашка. Они ровно ничего не делали, — им и так жилось хорошо, да к тому же они считали себя слишком важными, чтобы делать что-нибудь, и всякая работа была не по ним.

Наконец Пер услышал, что барону нужен пастух, зайцев пасти, и сказал отцу, что хочет поступить на это место; оно как раз по нему: коли служить, так, по крайней мере, самому барону. Отец же, напротив, думал, что не очень-то это место по нему: заячий пастух должен быть и на ногу легок, и ловок, и не ленив; небось, как зайцы взбесятся да понесутся, угоняйся-ка за ними; это не то, что по горнице из угла в угол слоняться. Но Пер знать ничего не хотел; пойду да пойду. Взял торбу со съестным и поплелся под гору. Шел-шел, шел-шел, набрел на дряхлую старуху, которая ущемила нос в расщелине пня.

Увидал он, как она бьется, чтобы вырвать нос из тисков, да и давай хохотать во все горло.

— Нечего стоять да зубы скалить! — говорит старуха. — Лучше подойди да помоги старухе. Я вот хотела дровец себе наколоть, да нос и ущемила. Вот уж сто лет бьюсь тут, не пивши, не евши.

А Пер еще пуще заливается, так ему смешно это показалось.

— Ну, — говорит, — коли сто лет так простояла, и еще сто простоишь.





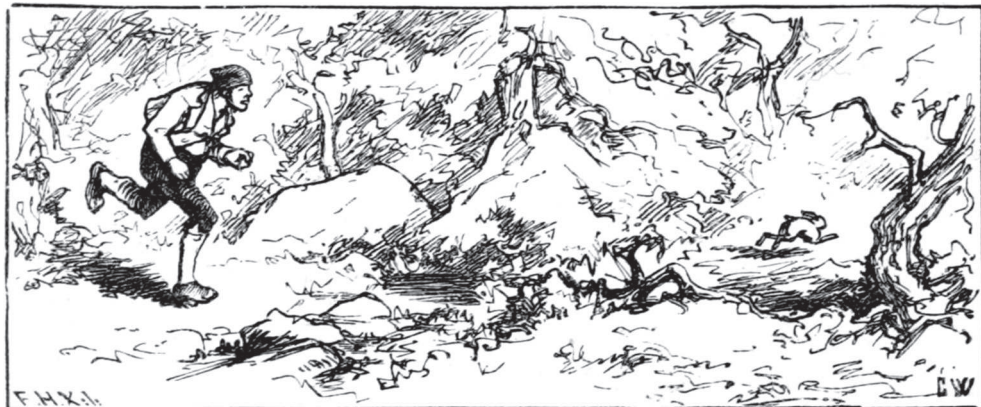
Пришел он к барону, и его сейчас же взяли в пастухи; не пришлось пороги обивать да кланяться. Стол и жалованье полагались хорошие, а в будущем он мог рассчитывать и на руку молодой баронессы; зато ему было объявлено, что если он упустит из баронского стада хоть одного зайца, то поплатится тремя ремнями из спины и будет брошен в змеиный ров.

Пока Пер ходил с зайцами около дома да проходил по меже, зайцы все держались в кучке, но когда в полдень он вышел с ними в лес, они принялись беситься и разбежались по горам, по долам. Пер за ними вдогонку, бежал-бежал, пока последний заяц не скрылся из вида и он сам не выбился из сил.

Под вечер поплелся Пер домой, долго стоял у околицы, все высматривал, не покажутся ли зайцы, — нет ни одного. Когда он пришел домой, барон уже дожидался его с ножом в руках, вырезал ему из спины три ремня, посыпал раны солью с перцем и велел бросить его в змеиный ров.

Через несколько времени вздумал поступить к барону в пастухи другой брат, Поль. Старик и ему говорил то же, что старшему, но Полю загорелось — идти да идти, никаких советов не принимает. И с ним все вышло, как с Пером. Старуха все стояла и билась с ущемленным носом, а ему и горя было мало; поохотал над нею да и оставил ее там, где была. На службу его взяли сейчас же, — тут отказа не было. Но зайцы и от него все разбежались по горам,

по долам, как он ни гонялся за ними, высунув язык, точно собака по солнечному припеку. Когда же он вечером вернулся домой без зайцев, барон уже поджидал его на крылечке с ножом, вырезал у него из спины три ремня, посыпал солью с перцем и велел бросить его в змеиный ров.



Спустя некоторое время и Замарашке захотелось пасти баронских зайцев. Ему казалось, что эта служба будет как раз по нему, — бродить по полям и лесам, бегать за зайцами, валяться по пригоркам на солнышке — то ли дело!

Старик же полагал, что лучше найти службу более подходящую, а то и с ним не вышло бы того же, что с братьями, коли не хуже. Заячьему пастуху нельзя быть увальнем, еле ноги таскать, как сонная муха. Да и пасти зайцев на холмах не то что блох ловить в рукавицах. Тут, коли хочешь спину уберечь, надо быть ловким, проворным, летать не хуже птицы.

Все уговоры, однако, ни к чему были. Замарашка заладил свое: хочу да хочу служить барону, и никому другому. Что же до зайцев, то не труднее же их пасти, чем козлов или телят! И вот взял он торбу с припасами и поплелся.

Шел-шел, шел-шел, стал его уже голод разбирать, вдруг видит, старуха нос в пне ущемила и бьется.

— Здравствуй, бабушка! — говорит Замарашка. — Что это ты нос точишь, бедняга?

— Вот уж сто лет никто меня бабушкой не называл! — говорит старуха. — Подойди же, помоги мне вытащить нос, да поесть дай чуточку, — сто лет не пила, не ела, — а я тебе пригожусь.

— Да, за такое время можно проголодаться! — согласился Замарашка.

Расколол он пень, старуха вытянула нос; потом Замарашка поделился с нею едой. У старухи аппетит, понятно, был волчий; она и съела добрую половину.

Наевшись, она дала Замарашке дудочку, да такую, что если подуть в нее с одного конца, то все, что хочешь убрать, точно ветром уносило во все

стороны, а если подуть с другого — все опять собиралось в кучу. Да еще эта дудка возвращалась к хозяину, куда бы ее не унесли, стоило ему только пожелать этого. «Да, вот это дудка так дудка!» — подумал Замарашка.

Пришел он к барону и сейчас же получил место, — тут за службой дело не стояло. И стол и жалованье обещали хорошее, а коли упасет зайцев, так, пожалуй, и баронессу в придачу, зато если уж не упасет, потеряет хоть одного зайчонка, поплатится тремя ремнями из спины. И барон был так уверен в этом, что заранее нож пошел точить.

Сначала Замарашке показалось, что пасти зайцев ничего не стоит, такие они были смиренные, ручные, точно стадо овец, пока он ходил с ними около дома да шел по меже на пастбище; но когда вышел с ними на поляну да время подошло к полудню и солнце начало припекать на открытых местах, зайцы все точно взбесились и начали разбегаться.

— Эх вы, ну! Пошли! — крикнул Замарашка и давай дуть в свою дудку: всех зайцев точно ветром размело во все стороны. Но дошел он до места, где прежде уголь жгли, и подул в дудку с другого конца. Не успел опомниться — зайцы все тут как тут, выстроились, точно солдаты на смотре. «Вот дудка так дудка!» — подумал Замарашка и завалился себе спать на солнышке, а зайцы разбрелись и паслись, где им самим хотелось, до самого вечера. Тогда Замарашка опять собрал их своей дудкой и привел домой, точно стадо овец.

Барон с баронессой и молодой баронессой стояли на крыльце и дивились, что это за молодец такой пасет зайцев, а как привел он их, барон принялся пересчитывать, сосчитал и еще раз пересчитал, — нет, верно: все до единого зайчонка налицо.

— Молодец! — сказала молодая баронесса.

На другой день пошел Замарашка опять пасти зайцев, развалился в лесу и лежит, а к нему и подослали служанку с баронского двора, чтобы она выпытала у него, как это он ухитряется упасты баронских зайцев.

Он и показал ей дудку, потом подул в нее с одного конца — всех зайцев точно ветром разнесло по горам и долам, подул с другого — все опять тут как тут, выстроились рядами.

«Да это дудка так дудка!» — подумала служанка. Она бы дала за нее сто далеров, только бы он продал.

— Нет, это дудка не продажная! — сказал Замарашка. — За деньги ее не получишь, а вот коли дашь сто далеров, да к каждому далеру по поцелую впридачу, — так и быть.

Еще бы! Она была готова дать ему хоть по два, да еще спасибо впридачу!

Получила она дудку и пошла домой; пришла — хват, дудки-то и нет. Замарашка пожелал, чтобы она вернулась к нему, и вечером опять привел домой всех зайцев. Сколько ни пересчитывал барон, все было верно, все зайцы до единого оказались налицо.

На третий день, когда он пас, к нему подослали молодую баронессу, чтобы она выманила у него дудку. Баронесса заворковала с ним, точно голубка,



и предложила ему двести далеров, только бы он продал ей дудку и научил ее, как донести дудку до дому.

— Это дудка не продажная! — сказал Замарашка. — Ну, да так уж и быть, для молодой баронессы он готов был уступить дудку за двести далеров и за столько же поцелуев впридачу. А уж донести дудку до дому ее дело; пусть глядит в оба.

Молодая баронесса поломалась было насчет поцелуев. — Это уж слишком дорого! — сказала она, но потом рассудила, что в лесу ведь их никто не увидит и не услышит, так пусть будет по его, — дудку ей нужно во что бы то ни стало.

Замарашка получил, что ему следовало, а молодая баронесса взяла дудку, пошла с нею домой и все время в руках ее вертела, но едва дошла до дому — дудка пропала между пальцами.

На следующий день отправилась к Замарашке за дудкой сама баронесса. Она-то уж добудет дудку!

Баронесса была поскупее и сначала предложила только пятьдесят далеров; пришлось надбавить до трехсот. Тогда Замарашка объявил, что хоть это и грошовая цена за такую дудку, но для баронессы он готов уступить, если она даст впридачу к каждому далеру по поцелую взасос. По этой части баронесса не стала скупиться, и Замарашка получил свое с лихвой.

Баронесса крепко-накрепко завязала дудку в платок, спрятала ее, но уберегла не лучше других. Пришла домой, хочет вынуть дудку, а ее и след простыл. Вечером Замарашка опять пригнал всех зайцев, точно ручных овец.

— Эх, вы, бабье! — сказал барон. — Вижу, самому надо взяться за дело и отобрать от него эту дрянную дудку!

И вот на следующий день, когда Замарашка был с зайцами в лесу, барон отправился туда сам и нашел Замарашку на том же самом пригорке, на солнышке, где целовались с ним служанка и баронессы.





*Замарашка получил, что ему следовало, а молодая баронесса дудку...*



Ну, конечно, разговорились по-дружески, и Замарашка показал барону свою дудку, подул в нее с одного конца, потом с другого, и барон решил, что такую дудку надо приобрести, сколько бы это ни стоило — хоть тысячу далеров.

— Да, такую дудку за деньги не купишь! — сказал Замарашка. — Но... видишь ты там белую лошадь? — спросил он барона.

— Да, это моя собственная лошадь! — сказал барон. — Белянка!

— Так вот, дашь тысячу далеров и поцелуешь эту кобылу, — дудка твоя.

— Нельзя ли расплатиться как-нибудь по другому? — спросил барон.

— Нет, нельзя! — сказал Замарашка.

— Ну, а можно, по крайней мере, поцеловать ее через платок? — спросил барон. На это Замарашка согласился. Барон получил дудку, спрятал ее в свой денежный кисет, сунул его в карман, хорошенько застегнулся и бегом отправился домой. Пришел к себе, хватъ — дудки-то и нет, не лучше, чем у бабья. А Замарашка пришел себе вечером со всеми своими зайцами.

Барон просто из себя вышел: как он смел их всех так одурачить! Голову с него долой без всяких разговоров! Баронесса тоже поддакнула, что самое лучшее казнить такого мошенника; улики ведь налицо.

Замарашка судил иначе: он свое дело сделал, а потому и защищался перед бароном, как мог.

Но барону все равно было. Разве вот Замарашка наврет с три короба — да полным полные, тогда его еще, пожалуй, помилуют.

Ну, это-то пустяки! Как не наврать! И Замарашка принялся рассказывать все с самого начала, как и что с ним было, как он набрел на старуху, которая ущемила нос в расщелине пня.

— Надо врать ведь сколько влезет! — И пошел рассказывать дальше про дудку, про служанку, которая хотела купить у него дудку за сто далеров, про то, как он с ней целовался на пригорке, потом про молодую баронессу, как она







с ним целовалась втихомолку в глуши лесной... — Надо ведь врать, сколько влезет! — и стал рассказывать, как скупилась старая баронесса на далеры и как щедро чмокала его. — Что ж, надо ведь врать, сколько влезет! — прибавил Замарашка.

— По-моему, короба уже полны! — заявила молодая баронесса.

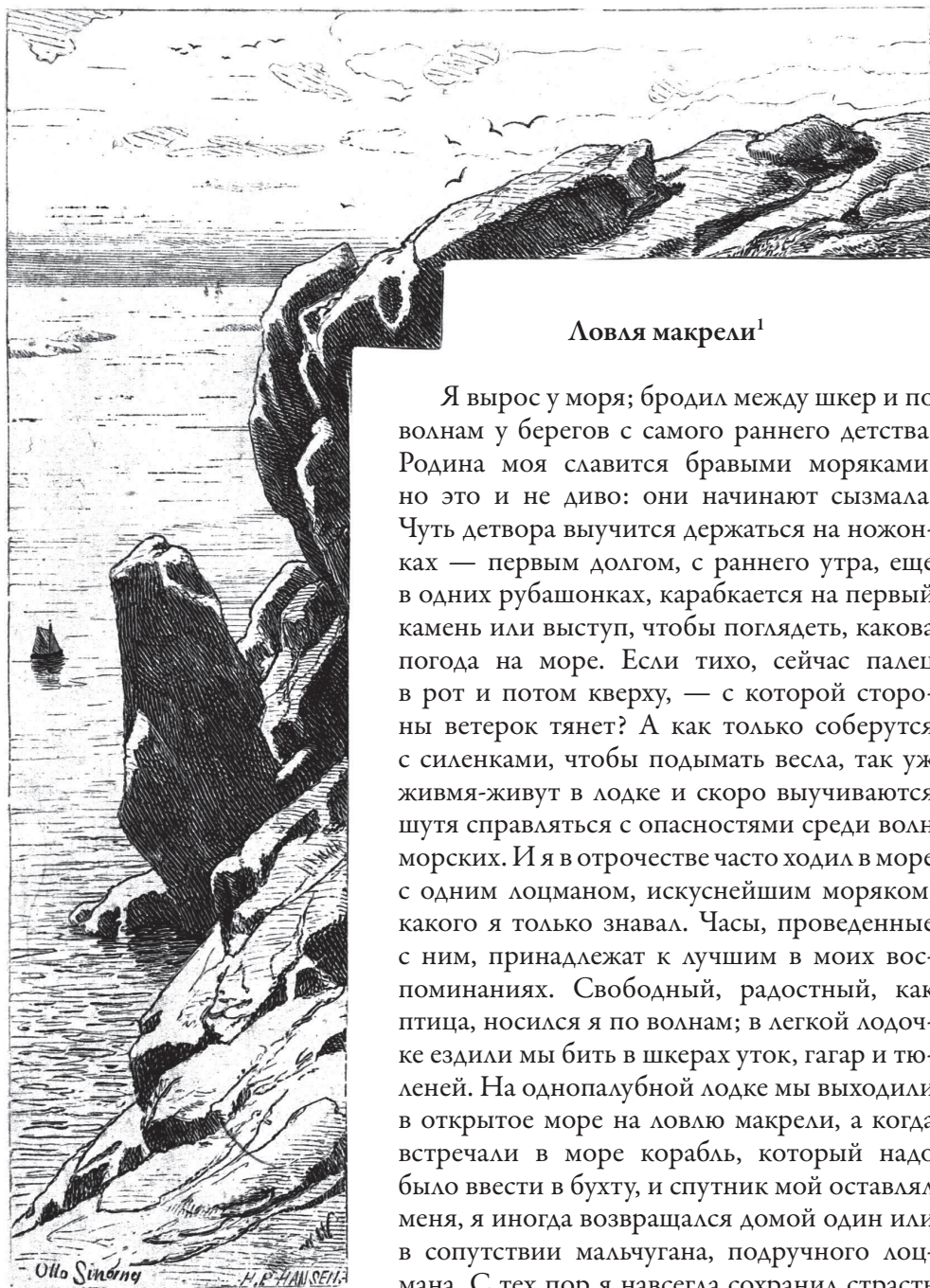
— Ну, нет еще! — возразил барон.

Тогда Замарашка начал рассказывать, как пришел к нему сам барон, потом про белую кобылу и про то, как барону пришлось... пришлось... — Да, надо ведь врать, сколько влезет, так, с позволения сказать...

— Стой, стой! — закричал барон. — Короба полным полны! Не видишь, что ли?

И порешили барон с баронессой, что делать нечего, всего лучше будет отдать Замарашке молодую баронессу и половину имения.

— Вот так дудка! Всем дудкам дудка! — сказал Замарашка.



### Ловля макрели<sup>1</sup>

Я вырос у моря; бродил между шкер и по волнам у берегов с самого раннего детства. Родина моя славится brave моряками, но это и не диво: они начинают сызмала. Чуть детвора выучится держаться на ножонках — первым долгом, с раннего утра, еще в одних рубашонках, карабкается на первый камень или выступ, чтобы поглядеть, какова погода на море. Если тихо, сейчас палец в рот и потом кверху, — с которой стороны ветерок тянет? А как только соберутся с силенками, чтобы подымать весла, так уж живмя-живут в лодке и скоро выучиваются шутя справляться с опасностями среди волн морских. И я в отрочестве часто ходил в море с одним лоцманом, искуснейшим моряком, какого я только знавал. Часы, проведенные с ним, принадлежат к лучшим в моих воспоминаниях. Свободный, радостный, как птица, носился я по волнам; в легкой лодочке ездили мы бить в шкерах уток, гагар и тюленей. На однопалубной лодке мы выходили в открытое море на ловлю макрели, а когда встречали в море корабль, который надо было ввести в бухту, и спутник мой оставлял меня, я иногда возвращался домой один или в сопровождении мальчугана, подручного лоцмана. С тех пор я навсегда сохранил страсть

<sup>1</sup> *Scomber scombus* — скумбрия (примеч. переводчика).

к морю, к соленой воде. Но вместо всяких восхвалений привольной жизни моряка и моря я хочу поднести вам рассказ об одной нашей морской прогулке. Несколько лет тому назад я опять посетил родные места, и вот тогда-то мы и предприняли с моим старым другом прогулку, во время которой он рассказал мне истории, изложенные ниже.

Мы провели с ним несколько дней в самых крайних шкерах. Плавали мы на большом лоцманском боте. Было нас всего трое: сам Расмус Ольсен, я и мальчуган. Рано утром, еще на заре, вышли мы в море на ловлю макрели. Ветерок был слабый, береговой, который едва мог поднять густой туман, окутавший шкеры и голые прибрежные скалы; над нами кружились с хриплыми криками чайки; резко кричали морские ласточки, насмешливо стрекотали морские сороки. Свинцово-серая поверхность моря изредка оживлялась появлением нырка, кайры, стаи гагар или стонущего дельфина; воздух был тяжелый, насыщенный туманом. Расмус сидел на корме, на руле, а мальчуган переходил с места на место, глядя по надобности. Расмус был высокий, плотный мужчина с загорелым и обветренным добродушным лицом. В глубине его серых, умных глаз светилось, однако, серьезно-пытливое выражение, говорившее о привычке глядеть в глаза опасностям и об умении глубже заглядывать в суть вещей, нежели это можно было предполагать, судя по его улыбке и шуткам, не сходявшим у него с языка. Фигура его в надвинутой на уши зюдвестке<sup>1</sup> и изжелта-серой морской куртке принимала в туманном воздухе огромные размеры, невольно наводя на мысль, что перед тобой привидение из времен викингов; только викинги не потребляли табаку, а Расмус преисправно.

— Этакий ветер и игрушечного кораблика в канаве не перевернет! — сказал Расмус и сменил жвачку на маленькую почерневшую трубочку, не переставая озираясь во все стороны. — Вчера вечером закат обещал хороший ветер, а сегодня — на вот тебе!

Мальчуган, глядевший вперед, сказал, что туман впереди как будто рассеивается.

— Черта с два! Все равно на солнце надежда плоха, — ответил Расмус. — Разве к вечеру разгуляется, а тогда, пожалуй, такой ветер пошлет, что опять нам не на руку будет для ловли.

Тем не менее скоро засвежело, так что мы могли сложить весла и быстро понеслись в открытое море на парусах. Туман мало-помалу редел, открывая позади нас синюю береговую линию и прибрежные голые островки. Впереди же расстиралось безграничное морское пространство, алевшее утренним румянцем. Чем выше подымалось солнце, тем сильнее становился свежий ветер с моря, хотя и береговой еще не ослабевал. Туман подымался с земли сплошной массой, точно покрывало. Теперь ветер был как раз для ловли макрелей. Скоро мы попали на целую стаю. Рыба клевала жадно, мы еле успевали

<sup>1</sup> Шапка, употребляемая моряками и прикрывающая своими лопастями уши, плечи и спину (*примеч. переводчика*).



вытаскивать этих серебристых деток моря. Но радость наша, как всегда, была кратковременна. Днем засвежело еще сильнее, поднялась зыбь, все сильнее и сильнее, наконец, лесы стали прямехонько, грузила запрыгали по гребням волн, а шквалы, несмотря на искусное лавированье лоцмана, начали перекашиваться через борта и обдавать пеной и брызгами мачту и паруса. Пришлось убрать удочки. Мальчуган сидел, спустивши ноги в люк, болтал ногами, зорко поглядывал по привычке по сторонам, а время от времени исчезал в трюме, чтобы взглянуть на свои часы, лежавшие в большом красном сундуке.

— Да, недаром он так привязался к этому сундуку и часам! — сказал, улыбаясь и кивая головой, Расмус. — Не будь их, лежать бы ему с камнем на шее на дне морском.

Я спросил, что это значит, и Расмус начал рассказывать.

— Случилось это в октябре прошлого года; погода была жестокая; я с трудом держался в море, а он был со мной. Наконец я окликнул одно галландское судно и перешел на него. Но лодка с мальчуганом не выходила у меня из головы, и я все отвлекался от своего дела, поглядывал, как он справляется с волнами. Вдруг вижу — шквал налетел на корму и смысл мальчугана. Конец! Помочь ему мы не могли, хоть бы капитан и желал, — слишком далеко мы ушли. Я стал молиться за его душу; думаю — не увижу его больше. Являюсь домой и — первого его вижу. Он раньше меня вернулся. Вынимает часы свои, показывает и говорит: «Часы-то я сберег! Идут!» Ну, слава богу, — думаю себе, — что хоть ты-то спасся; лодка-то уж бог с ней, хоть она и стоила мне полтора ста далеров, да парус новый только что поставил. «Как же ты спасся?» — спрашиваю. Оказывается... Да, да, мальчуган! — кивнул он мальчугану, который, посмеиваясь, еще сильнее болтал ногами. — Кому быть повешенным, тот не утонет! Шел бриг одного из наших хозяев. Вдруг слышат крик. Один из команды кинулся на нос, — нет, ничего не видать. Затем вдруг опять крик у самого носа судна. Сам капитан тоже подоспел, выглянул за борт, — мальчишка на сундуке сидит, руку высоко кверху держит, а в ней часы. Капитан едва успел дать сигнал рулевому, чтобы не налететь на мальчика да не пустить его ко дну вместе с сундуком. Потом удалось остановить судно, подали мальчугану конец и выудили его!

К вечеру ветер стих, и мы наловили еще рыбы под несмолкаемые рассказы.

— Да, да! — сказал, потряхивая головой и раскуривая свою трубку, лоцман. — А на юге-то заваривается каша! Этот ветерок был только утренней закуской нам, а вот теперь нас ждет настоящее угощение. Вон и рыба чует — не клует больше. И птицы боятся. Слышь, как кричат и к берегу спешат? К вечеру чертовская погода разыграется. Нет, поглядите! Ведь как близко, просто доп...

«Доплунуть можно», хотел он сказать, но не успел: мое ружье грянуло. Дельфин, кувыркавшийся в волнах близехонько от нас, начал бить хвостом с такой силой, что поднялся целый столб из воды и пены, точно водопад, вышиной с нашу мачту.

— Ну, этот тролль не пошлет уж нам дурной погоды! — сказал я, увидя, что вода окрасилась кровью. Скоро дельфин с громкими стонами опять показался над водой и перевернулся брюхом кверху. Расмус не замедлил зацепить его багром и с моей помощью втащил его в лодку. Лоцман был очень доволен добычей, обещавшей ему столько ворвани, и поворачивал животное с боку на бок, гладил его, словно спеленутого ребенка, говоря, что этот прежирный тролль обещает хороший запас жиру и на смазку сапог, и на лампы.

Эта шутливая болтовня о троллях и морских ведьмах, поднимающих бури, пробудила во мне воспоминание об одной необыкновенной истории о ведьмах, которую, мне казалось, я слышал в детстве от Расмуса. Воспоминание было, впрочем, настолько смутно, что я колебался: действительно ли я слышал это от лоцмана или оно мне пригрезилось. Я и спросил Расмуса, не рассказывал ли он мне когда-нибудь истории о трех морских ведьмах.

— Ах, эту! — сказал он и рассмеялся. — Это из тех историй, что зовутся теперь «шкиперскими рассказнями», а в старину в них крепко верили. Дедушка рассказывал мне ее, когда я был еще мальчишкой, но я не помню, с кем случилось это, то есть кто был юнгой — дедов дед или прадед. Дело же было так.

Плавал этот дед или прадед юнгой с одним шкипером все лето, но когда надо было идти в осеннее плаванье, он что-то призадумался и стал отказываться. Шкипер же его полюбил: он хоть и подросток еще был, но большой, дюжий и на всякую работу ловкий, справлял дело за любого матроса, да и забавник был такой, что всех на корабле веселил. Шкиперу и жаль было с ним расстаться. Но у мальчугана никакой охоты не было шляться по морю осенью. Пока шла нагрузка, он, однако, еще оставался на судне. Раз в воскресенье вся команда гуляла на берегу, а сам капитан отправился на часок к одному лесовладельцу, чтобы договориться насчет мелкого груза и дровяного балласта для палубы — должно быть, это были его частные делишки, — мальчугану же пришлось одному караулить судно. А надо вам знать, он родился в воскресенье и раз нашел четырехлистник-клевер, так поэтому обладал особым даром видеть нечистую силу; она же его видеть не могла.

— Да-да! А ведь погода-то портится! — прервал вдруг самого себя рассказчик, встал и, прикрываясь рукой от солнца, стал смотреть на юг. — Гляди-ка, как заволакивает. Быть грозе. Лучше приготовиться; все равно ветра нет. Мертвая зыбь; лодка лежит, точно куль с овсом. Надо зарифить парус загодя. Иди сюда, Джон.

Пока лоцман с мальчуганом возились с парусом, я сидел на руле, наблюдая за погодой. Море было блестяще и почти неподвижно. Ветер стих, но лодку качало подводной зыбью. Далеко на юге вставала огромная черная тень. Сначала она представлялась нам узкой полоской, соединявшей небо с морем, но затем мало-помалу разрослась в целую стену, или завесу, которую вскоре окаймили тяжелые, грязно-желтые, свившиеся клубами грозовые тучи. Минутами завеса из туч как-то светлела и становилась прозрачной, словно

сзади нее кто-то ходил со свечой. Молний еще не было, но вдали уже глухо рокотало. Вначале я было принял это за рокот волн.

— Ну, — сказал Расмус, раскурив трубку и снова сев на руль, — сидит наш юнга в матросской каюте, вдруг слышит говор в трюме. Он глянул в щелочку и видит — сидят там три черных, как смоль, вороны и разговаривают о своих мужьях. Надоели, оказывается, им мужья, и они решили отделаться от них. Ясно было, что это оборотни.

«Только бы нас кто не подслушал!» — говорит одна ворона, и юнга узнал по голосу, что это жена самого капитана. «Ты сама же видишь, ни одной души на судне нет!» — говорят ей две другие. Мальчуган и их узнал, это были жены штурманов.

«Ну так скажу вам, что знаю средство отделаться от них! — И жена капитана придвинулась поближе к двум другим воронам. — Мы можем скинуться тремя шквалами, пробить им борта и потопить вместе с судном».

Другим это понравилось, и они долго еще сговаривались насчет дня и места.

«Только правда, что нас никто не слышит?» — опять говорит жена капитана.

«Да, ведь ты же сама знаешь!» — говорят ей другие.

«То-то, а то есть одно такое средство, что нам несдобровать!»

«Какое же это средство, сестрица?» — говорит жена одного штурмана.

«А вы уверены, что тут нет никого? Мне кажется, кто-то дымит в каюте?»

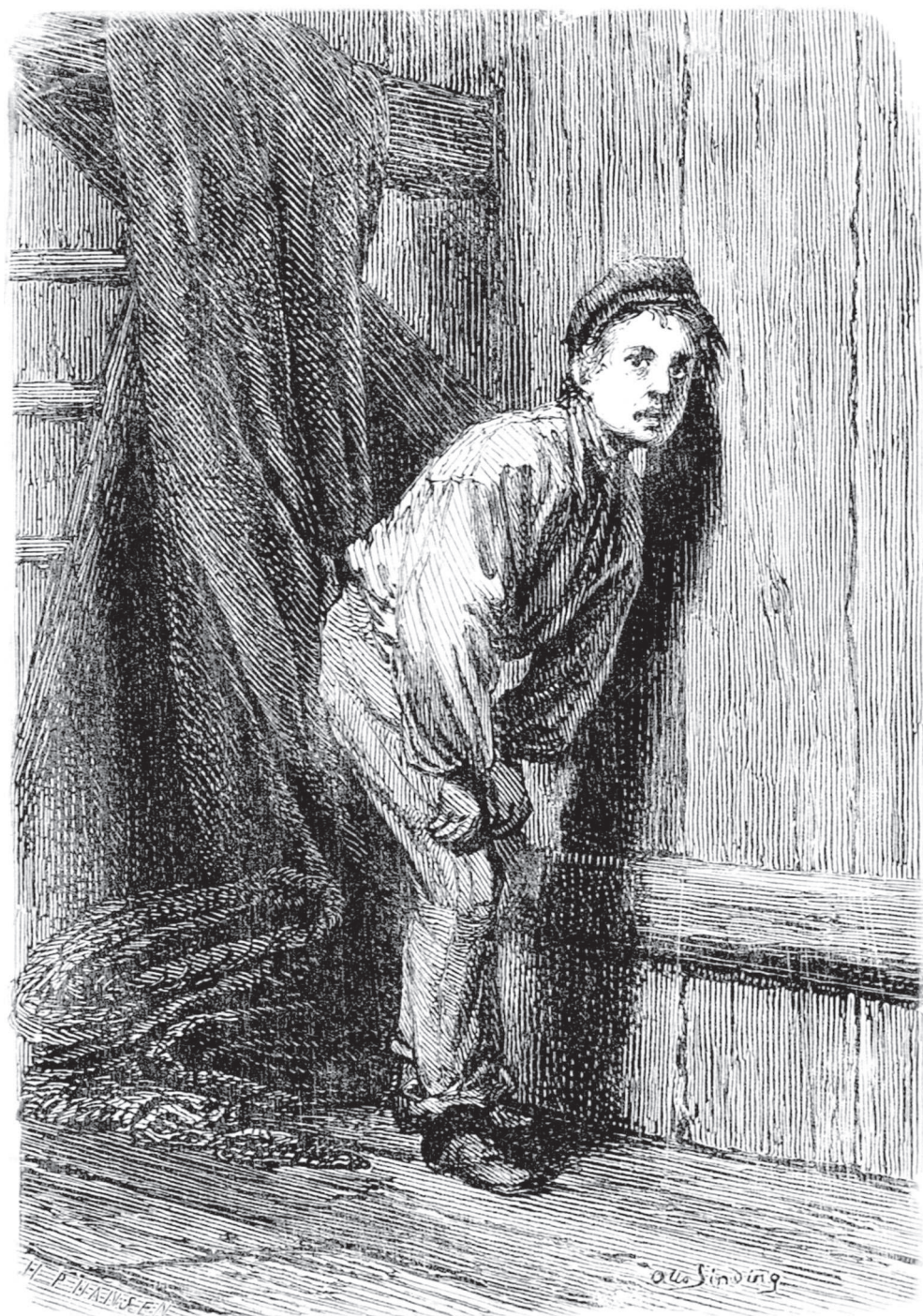
«Да ведь мы же оглядели все углы. Они забыли погасить огонь в камбузе, вот и дымит. Говори же!» — пристают к ней жены штурманов.

«Если они купят три сажени березовых дров, только полных — полено в полено, и не торгуясь, да повыкидают за борт одну сажень полено за поленом, когда налетит первый шквал, вторую полено за поленом, когда налетит второй, а третью полено за поленом, когда налетит третий — нам конец!»

«Правда, правда, сестрица! Тогда нам конец! Тогда нам конец! Только никто из них не знает этого средства!» — И они захохотали и вылетели из люка, каркая, точно настоящие вороны.

Настало время отплытия, и юнга наотрез отказался идти с ними. Что ни говорил ему капитан, все было напрасно. Наконец те ему говорят, что он, должно быть, трус, боится идти в море осенью и хочет лучше сидеть дома за печкой, прячась за материну юбку! Ну уж нет! Он сухопутной крысой никогда не был и не будет! Сами знают! И он готов идти с ними, но под одним условием: капитан должен купить, не торгуясь, три полных сажени березовых дров и вручить ему командование судном в тот день, когда он сам того пожелает. Капитан стал его спрашивать, что это за дурачества такие и где это он слышал, чтобы юнги командовали судами. Но юнга стоял на своем; хотя бы они купили три сажени березовых дров и слушаться его один день, как капитана, — день он потом сам назначит, — так он пойдет с ними, а нет — ноги его не будет на этом судне. Капитан сначала дивился, а потом сдался, — уж очень ему





...сидит наш юнга в матросской каюте, вдруг слышит говор в трюме.

не хотелось отпускать мальчугана. К тому же он полагал, что юнга таки справится с делом. Штурман был того же мнения: «Пусть себе покомандует! А посадит судно где-нибудь, так мы выручим!» — сказал он капитану. Ну вот, дрова были куплены без всякого торгу, смиренны полено в полено, и они отплыли.

В тот день, когда юнга должен был взять на себя команду, погода была тихая, прекрасная. Но он вызвал всех наверх и велел рифить и убирать паруса, оставив одни штормовые. А было это — как раз только что ночная вахта кончилась. Капитан со штурманом так и покатились: «Сейчас и видно командира! Не прикажешь ли и штормовые убрать?»?

«Нет еще! — говорит юнга. — Погодя немного».

Внезапно налетел такой шквал с ливнем, что все думали — их перевернет. Да не будь у них паруса зарифлены, и несдобровать бы судну. Юнга же, не теряя времени, приказал выбрасывать за борт первую сажень дров: полено за поленом, по одному зараз, отнюдь не больше, и не трогать других двух саженей. Теперь команда не смеялась, а слушалась его беспрекословно и повыкидала за борт полено за поленом всю первую сажень. Когда было выброшено последнее полено, послышался стон, точно кто боролся со смертью, и в ту же минуту ливень прекратился.

«Слава богу!» — сказала команда.

«Да, я засвидетельствую перед хозяевами, что это ты спас судно и груз!» — сказал юнге капитан.

«Да-да, все это хорошо, только еще не конец! — сказал юнга. — Другой шквал налетит посильнее!», — и скомандовал убрать все паруса, кроме топселя. Второй шквал и в самом деле был еще сердитее первого, и так трепал и хлестал ливнем судно, что команда испугалась. В самую ужасную минуту юнга велел выкидывать за борт вторую сажень, тоже полено за поленом. Команда исполнила все в точности, до третьей сажени и не дотронулась. Когда выбросили последнее полено, опять раздался протяжный предсмертный стон, и погода разом стихла.

«Ну, еще одну трепку придется выдержать, и самую злейшую!» — сказал юнга и велел всем быть на местах; судно ждало третьего шквала с одним рангоутом да такелажем. Последний шквал был бешенее обоих первых; судно совсем легло набок, так, что думали, больше и не встанет; волны перекатывались через палубу. Но юнга скомандовал выбрасывать полено за поленом третью сажень, и едва последнее полено было сброшено, раздался глухой предсмертный стон человека, умирающего тяжелой смертью, и вода кругом корабля — насколько хватал глаз — окрасилась кровью.

Когда все успокоились, капитан и штурманы заговорили о том, что надо написать женам. «Можете не писать, все равно их нет в живых!» — сказал юнга. «Как так, щенки?» — сказал капитан. «Уж не ты ли отправил их на тот свет?» — спросил штурман.





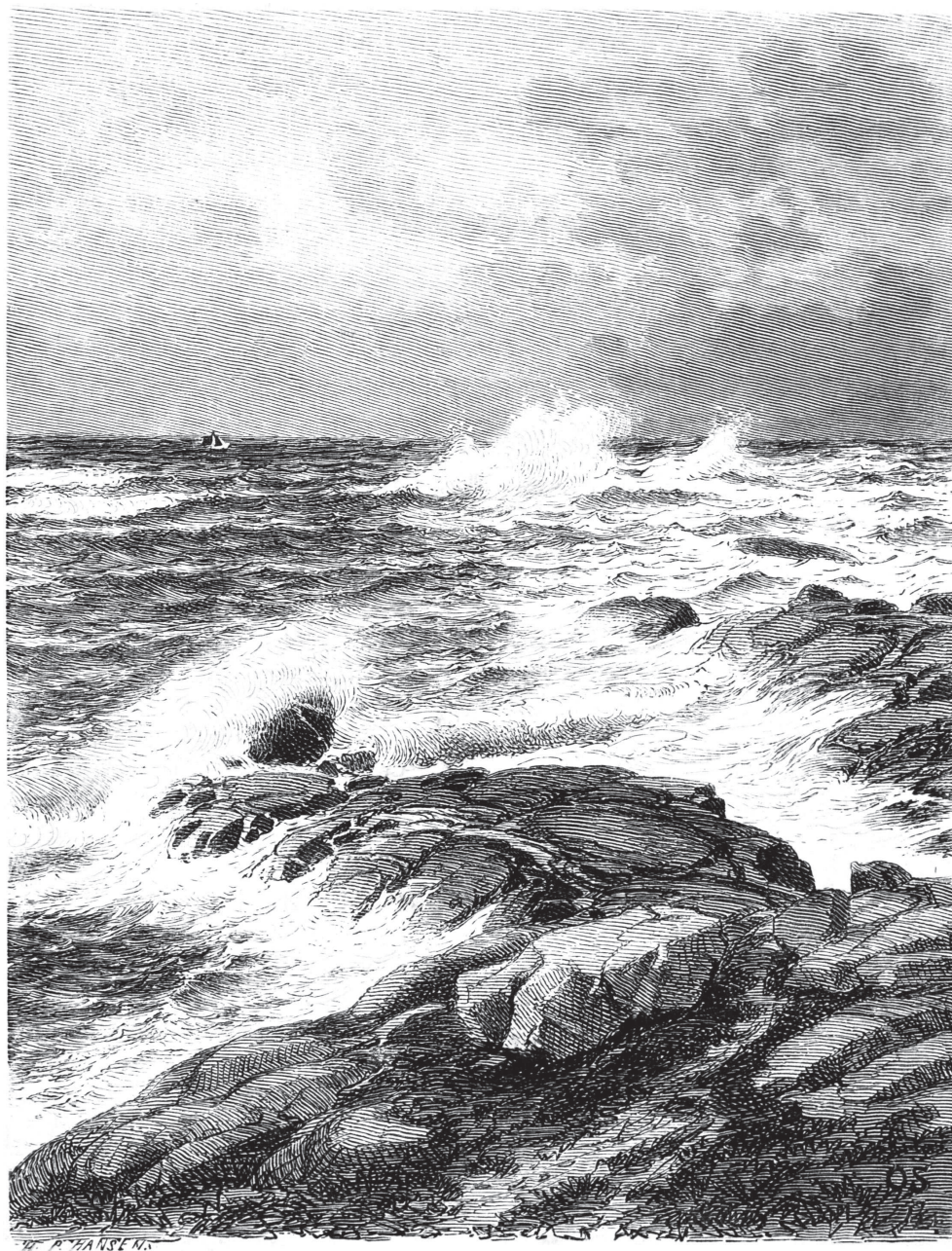
И они захохотали и вылетели из люка, каркая, точно настоящие вороны.



«Не я один; тут мы все постарались!» — ответил юнга и рассказал все, как было, что он видел и слышал на судне в то воскресенье, когда команда гуляла на берегу, а капитан уговаривался с лесовладельцем.

Вернулись они в свое время домой и узнали, что жены их скрылись накануне того дня, когда судно выдержало шторм в море, а с тех пор о них не было ни слуху, ни духу.

Так мы и скоротали время до вечера, слушая рассказы, которыми угощал нас Расмус. Непогода медленно надвигалась, темная завеса расплзалась по небу все шире. Начали поблескивать молнии, то ударяя в море, то извиваясь по небу змеями и образуя огненную бахрому по краям густых складок завесы из туч. Иногда же вся завеса вдруг просвечивала изнутри огненным светом, становясь прозрачной, как кисея. Гроза еще была далеко; гром рокотал глухо, но море уже ревело; куда ни оглянешь, катились блестящие волны багрово-кровяного цвета от заходящего в штормовых багровых облаках солнца. Было ясно, что нам не уйти от грозы. Волны все росли, течение несло нас к берегу, да изредка принимался дуть попутный ветерок. При последних лучах дневного света мы увидели вдали на горизонте черную полосу. Потом перед нею образовалась белая полоса из пены, и вот наступила ночь и шторм. Лодка наша летела как стрела, и скоро мы достигли крайних шкер, где с хриплыми криками носились тучами морские птицы, испуганные блеском молнии и раскатами грома. Грохот моря заглушал их резкие голоса. Между шкерами и островками зыбь была несколько слабее, но дальше, ближе к берегам, опять усиливалась, и при блеске молний мы видели вдоль всей береговой полосы яростно набегающие на берег пенящиеся шквалы, грохот которых отдавался у нас в ушах. Расмус пронизывал глазами мрак, который мне казался непроглядным. Я видел в нем только широкую белую полосу пены, к которой мы приближались со страшной быстротой. Наконец я различил небольшое черное пятно, на которое мы держали курс, и через несколько минут мы между мелями и бакенами влетели в узенький пролив и счастливо достигли безопасной бухты, защищенной от ветра и волнения мысами и скалами.



*...при блеске молний мы видели вдоль всей береговой полосы яростно набегающие  
на берег пенящиеся шквалы, грохот которых отдавался у нас в ушах.*

## Пейк

Жили-были муж с женой; были у них сын да дочь — близнецы, лицом в лицо, так что и различить их можно было только по платью. Сына звали Пейк. Пока родители были живы, он ничего не делал, — охоты ни к чему не было, разве только людей дурачить да потешаться над ними. И такой он был проказник, что никого в покое не оставлял. Когда родители померли, он еще хуже стал; работать по-прежнему не хотел, проживал, что от родителей осталось, да ссорился с людьми. Сестра трудилась и работала, не покладая рук, а все не хватало, она раз и стала выговаривать брату за лень.

— Чем мы жить будем, когда ты спустишь все добро? — спрашивает сестра.

— Тогда пойду да надую кого-нибудь! — говорит Пейк.

— Поздно будет! — говорит сестра.

— Увидим!

Вот и прожил он все до последнего. Снарядился и пошел. Шел-шел, вот и баронский двор. Барон стоял на крыльце, увидал парня и спрашивает:

— Ты куда идешь, Пейк?

— Вот иду посмотреть, нельзя ли кого-нибудь надуть! — говорит Пейк.

— Так надуй меня!

— Не могу! — говорит Пейк. — Все свои штуки дома оставил.

— Сходи за ними! Мне страсть хочется посмотреть, правда ли ты такой веселый плут, как люди говорят.

— Невмоготу мне идти! — говорит Пейк.

— Я дам тебе лошадь и седло!

— Мне и сесть на лошадь невмоготу! — отговаривается Пейк.

— Мы тебя посадим на седло, а там уж ты удержишься! — говорит барон.

А Пейк мнется на месте да в затылке скребет, точно всю кожу с головы содрать хочет. Подсадили его; поехал, из стороны в сторону покачивается в седле. Барон до слез нахохотался: сроду такого наездника не видал. Но только что Пейк спустился под гору и въехал в лес, где барон уже не мог его видеть, выпрямился, точно прирос к седлу, и поскакал во всю прыть, как будто и лошадь и сбруя у него были краденые. Приехал домой и продал лошадь и седло.



А барон-то все ждет его да посмеивается, вспоминая, какой у него вид был, когда он ввалился на лошадь, точно куль с овсом, и поехал так, как будто не знал, на которую сторону ему свалиться. Но время шло, а Пейка нет как нет. Догадался барон, что Пейк одурачил его, хоть у него и не было с собой своих штук, выманил у него лошадь с седлом. Сильно разгневался барон и порешил отправить казнить Пейка.

Пейк узнал точно, в какое время барон явится, и велел сестре поставить на огонь смоляной котел да влить туда чуть-чуть воды. Как только барон ступил на порог, Пейк схватил котел с очага, поставил на чурбан и давай мешать — будто в нем каша варится.

Смотрит барон, как это каша на чурбане бурлит, дивится и от удивления позабыл даже, зачем пришел.

— Что ты хочешь за этот котел? — спрашивает у Пейка.

— Я не могу с ним расстаться! — говорит Пейк.

— Почему? Я тебе хорошо заплачу!

— Да ведь с ним ни хлопот, ни забот, ни дрова рубить, ни за провоз платить!

— Все равно! Я дам тебе сто далеров! — говорит барон. — Ты надул меня — выманил лошадь с седлом и сбруей, но я тебе, так и быть, прошу это, если отдашь мне котел.

— Ну, делать нечего! — говорит Пейк.

Вернулся барон и созвал гостей на пир. Кушанья должны были вариться в новом котле. Котел поставили посреди пола.

Гости думали, что барон свихнулся, подталкивают друг друга локтями, посмеиваются, а барон похаживает вокруг котла, хохочет и приговаривает: — Вот сейчас закипит, вот сейчас закипит! — Но котел так и не закипел. Догадался барон, что Пейк опять его надул, и порешил сейчас же поехать казнить его.

Когда барон явился, Пейк стоял у овина.

— Что же, не кипит? — спрашивает у барона.

— Не кипит, и ты за это ответишь! — говорит барон и уже меч вынул.

— Понятное дело! — говорит Пейк. — Ты ведь забыл прихватить чурбан.

— А ты не врешь опять? — спрашивает барон.

— Да, конечно, все дело в чурбане; без него не закипит! — уверяет Пейк.

Ну, сколько же он возьмет за чурбан? Да уж следовало бы триста далеров, но для барона можно уступить и за двести. Взял барон чурбан, привез к себе и снова созвал на пир гостей, а котел поставил на чурбан посреди залы. Гости думали, что он не в уме, и смеялись над ним, а он знай хохочет да приговаривает: — Сейчас, сейчас закипит! — Только и на чурбане вышло то же, что на полу. Догадался барон, что Пейк снова надул его своими штуками, вырвал у себя от гнева клок волос и отправился казнить Пейка безо всякой пощады.

Но Пейк уже приготовился его встретить: заколол барана, собрал кровь в пузырь, завязал его, засунул за пазуху сестре и сказал ей, что надо делать.

Барон явился и спрашивает:

— Где Пейк? — а у самого даже голос от гнева дрожит.

— Ему так нездоровится, что он на ногах не стоит, — говорит сестра. — Сейчас прилег уснуть.

— Поди сейчас, разбуди его! — говорит барон.

Она отнекиваясь, — он-де такой вспыльчивый.

— Я еще вспыльчивее! — говорит барон. — И коли ты его не разбудишь, я... — и он схватился за бок, где у него меч был прицеплен.

Нет-нет! Уж лучше она разбудит брата. Подошла она, стала будить, Пейк как вскочил, схватил нож да всадил ей в грудь, в то самое место, где у нее спрятан был пузырь с бараньей кровью. Кровь брызнула струей и залила девушке всю грудь, а сама она упала на пол, как мертвая.

— Что же это ты делаешь, бездельник? — говорит барон. — Ты убил сестру, да еще на глазах господина!

— Не велика беда, пока из меня самого дух не вышел! — говорит Пейк, взял рог, протрубил на нем свадебную песнь, потом приставил сестре ко рту и вдунул в нее жизнь: встала она как ни в чем не бывало.

— Что такое? Ты можешь убивать людей и снова дувать в них жизнь? — спрашивает барон.

— А как же иначе при моей горячности? — говорит Пейк. — Не то я бы всех вокруг себя давно поубивал. Я страсть горячий!

— Я тоже горяч! — говорит барон. — Надо мне приобрести этот рог. Я дам тебе за него сто далеров и прошу тебе твои обманы: и то, что ты лошадь у меня выманил, и что надул котлом и чурбаном.

Пейку, разумеется, было очень тяжело расстаться с таким рогом, но для барона, делать нечего, расстался. Барон взял рог и поскакал домой во весь опор. Приехал, и не терпится ему поскорее попробовать рог, он и давай придираться к жене со старшей дочерью; те не стерпели, стали ему перечить; он выхватил меч да и проколол обеих. Они упали на пол мертвыми, а все остальные разбежались от страха.

А барон себе ходит по комнатам да говорит, что тут большой беды еще нет, пока в нем есть дух, и тому подобное, чего от Пейка наслушался. Потом вынул рог, протрубил и стал вдвухать жизнь в убитых, но сколько ни дул — и день, и другой, — толку не вышло; мертвыми были, мертвыми и остались. Пришлось похоронить их да еще поминки справить.

Теперь-то уж несдобровать Пейку! Но Пейк опять взялся за свои штуки и говорит сестре:

— Переменись со мной платьем, забирай все наши пожитки и уезжай во всю прыть.

Она поменялась с ним платьем, забрала пожитки и уехала поскорее, а Пейк сидит себе в ее платье, барона дожидается.

— Где Пейк? — спрашивает барон грозно.

— Сбежал! — говорит Пейк.

— Ну, будь он дома, я бы его убил! — говорит барон. — Эдаких плутов нечего щадить!

— Он знал, что барон придет казнить его за его штуки, вот и сбежал, а меня тут оставил холодную, голодную! — говорит Пейк, а сам так умильно поглядывает, точно девица.

— Хочешь со мной поехать? У меня сыта будешь! Нечего тебе тут в хижине голодать! — говорит барон.

Пейк, разумеется, согласился, барон взял его с собой, велел его учить всему и держал как собственную дочку. И стало у барона опять как будто три дочери: Пейк занимался рукодельями, играл, забавлялся с дочерьми барона и был с ними вместе день-деньской.

Прошло порядочно времени, приезжает к барону князь свататься.

— У меня три дочери, которую хочешь? — говорит барон и позволил князю пройти к баронессам в рукодельню, познакомиться с ними. Князю полюбился более всех Пейк, ему он и бросил на колени шелковый платок. Стали готовиться к свадьбе, явились родственники барона и князя, отпировали свадьбу, а к вечеру Пейк и сбежал; больше ему нельзя было оставаться. Невеста пропала. Пришлось гостям в самый разгар пиროвания по домам разезжаться.

Барон и рассердился, и опечалился, и стал раздумывать, как же все это вышло?

Потом сел он на лошадь и поехал прогуляться, уж очень невесело ему было дома. Выехал в поле, а на камне Пейк сидит и на дудочке играет.

— Так ты тут сидишь, Пейк? — говорит барон.

— Ну да, а то где же мне еще сидеть? — говорит Пейк.

— Ты надувал меня раз от разу все хуже, теперь иди за мной, я тебя казню!

— Уж коли нельзя отделаться, так пойду!

Пришли они во двор, велел барон приготовить бочку и засадить туда Пейка. Потом бочку заколотили и вкатили на высокую скалу: там Пейк должен был оставаться три дня — размышлять о своих грехах, прежде чем его сбросят в море.

На третий день проходит мимо один богатый человек, а Пейк сидит в бочке да поет:

— Прямо на небо в рай я полечу, но петь среди ангелов я не хочу!

Человек услышал это да и спрашивает Пейка, что он возьмет с него за то, чтобы пустить его на свое место.

— Да уж недешево! Не каждый день ведь найдешь готовый экипаж, чтобы лететь на небо!

Человек согласился отдать Пейку все свое богатство, выбил дно у бочки и влез в нее сам вместо Пейка.

Пришли спускать бочку вниз по крутизнам.

— Счастливого пути! — говорит барон, думая, что в бочке-то Пейк. — Теперь ты живо будешь в море. Конец всем твоим штукам!



Не докатилась бочка до половины горы, как разлетелась вдребезги вместе с тем, кто сидел в ней. Вернулся барон домой — глядь, Пейк на крылечке сидит, на дудочке играет.

— Так ты здесь? — говорит барон.

— Ну да, здесь, где же мне быть еще? — говорит Пейк. — Я думаю нанять тут дом и помещение для моего скота, лошадей и прочих богатств!

— Куда же я сбросил тебя, что ты так разбогател?

— Прямо в море! — говорит Пейк. — Очутился я на дне, а там всяких богатств непочатый край: целые горы золота, всякого добра; стадами ходят лошади, рогатый скот!...

— Сколько возьмешь, чтобы сбросить меня туда? — спрашивает барон.

— Ты с меня ничего не взял, и я с тебя ничего не возьму! — говорит Пейк.

Заколотил он барона в бочку, вкатил на скалу да и сбросил оттуда, а сам вернулся на баронский двор, женился на младшей дочке и стал править баронством. Штуки же все свои припрятал так далеко, что никто больше и не слышал о Пейке-плуте.



Высхал в поле, а на камне Пейк сидит и на дудочке играет.

### Глупые мужья и бедовые бабы

Жили-были две бабы, и повздорили они, как часто у баб бывает, а так как не о чем другом было вздорить, то и повздорили о том, чей муж глупее. Чем больше они спорили, тем больше кипятились, под конец чуть друг другу в волосы не вцепились. Известно ведь, стоит только начать ссориться — не скоро кончишь, да и плохо дело, коли у кого ума нет. Одна баба говорит, что нет такой вещи, которой бы ее муж не поверил, если она захочет; ей стоит только сказать, что это *так*, и он поверит всякой чепухе не хуже любого тролля. А другая говорит, что нет такой вещи, которой бы ее муж не сделал, если она заставит; стоит сказать ей, что так *надо*, и он все исполнит, такой рохля.

— Ну, попробуем же одурачить их хорошенько, чтобы узнать, который глупее! — На том ж порешили.

Когда один из мужей вернулся из лесу, жена его и говорит:

— Ох, горе мне, бедной! Ведь ты совсем болен! Того и гляди с ног свалишься!

— Я только проголодался очень, — говорит муж, — а так ничего.

— Час от часу не легче! — вопит жена. — На что ты похож? Краше в гроб кладут! Ложись скорее в постель! Ох, недолго ты протянешь! — И добилаь-таки, что муж поддался ей, поверил, что он при смерти, позволил жене уложить себя, скрестить руки, закрыть глаза и, наконец, уложить в гроб. Жена, чтобы он не задохся в гробу и мог видеть, что кругом делается, просверлила по бокам дырочки.

Другая жена взяла пару гребней и села шерсть чесать, а шерсти-то у нее и не было. Муж вернулся и смотрит: что это она дурачится?

— На прялке без колеса много не напрядешь, но и гребнем шерсти не начешешь, коли шерсти нет! — говорит он жене.

— У меня шерсти нет? — говорит жена. — Шерсть-то у меня есть, да ты ее не видишь, — очень уж тонка. — Потом она взялась за прялку и стала прясть — опять без шерсти.

— Нет, это ни на что не похоже! — говорит муж. — Жужжит-жужжит на своей прялке, а на ней ничего нет.





...поздорили о том, чей муж глупее.

— Ничего нет? — говорит жена. — Шерсть так тонка, что не с твоими глазами ее видеть.

Покончив с пряжей, она наладила ткацкий станок и стала ткать. Поткав, сняла со станка материю, поваяла ее, потом села кроить и шить мужу платье, а когда окончила, повесила на чердак. Муж не видал ни материи, ни платья, но в конце концов поверил, что оно слишком тонко, оттого он и не видит его.

— Да уж, тонко-то, тонко! — говорит.

А жена зовет его на поминки.

— Сегодня соседа хоронят. Надень новое платье. — Помогла она ему надеть обновку, — а то как бы еще не разорвал платья, материя-то такая тонкая!

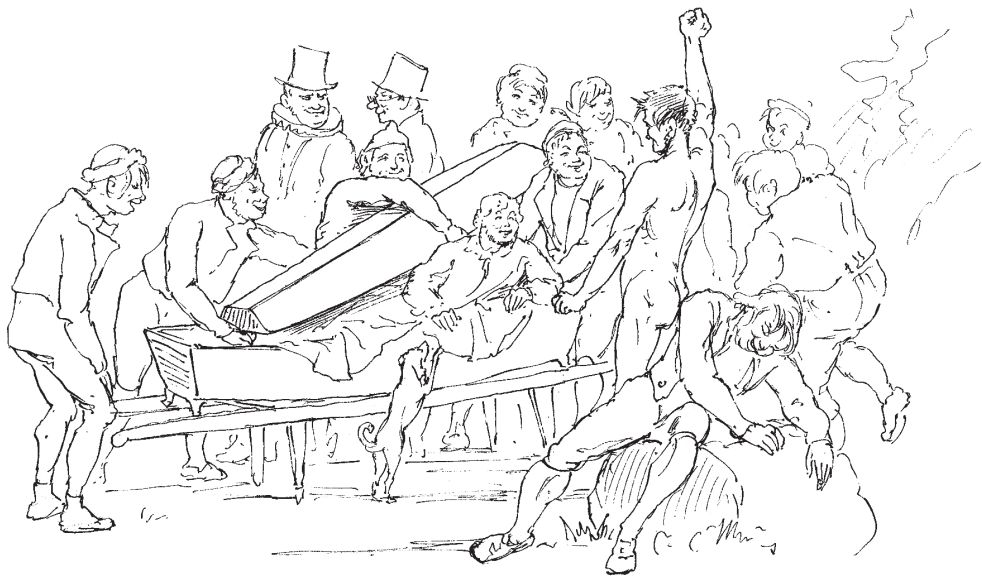
Пришли они на поминки, а там уж угощаются вовсю, и гости не стали, разумеется, печальнее, увидав мужа в новом платье. Понесли покойника на кладбище, а он глянул в дырочку и давай хохотать:

— Мочи моей нет! Ведь сосед-то голёшенек идет меня хоронить!

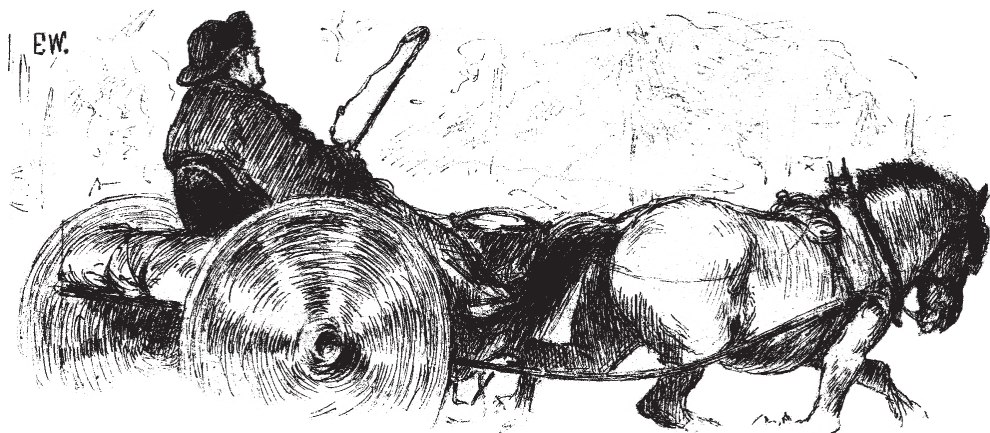
Услыхали провожатые и сейчас же открыли гроб. Другой муж, что был в обновке, и спрашивает:

— Как же так, покойник в гробу хохочет? Ему бы скорее плакать!

— Слезы никого из могилы не выплывают! — сказал первый; слово за слово, разговорились и разузнали, как все было, как их бабы провели. Пришли мужья домой и распорядились как нельзя умнее, а если кто хочет знать *как*, пусть спросит березу.



*P. Calmander*



### Пастор и пономарь

Жил-был пастор, ужасный грубиян и крикун; завидит кого встречного на дороге, так за версту еще кричит: «Прочь с дороги, прочь с дороги, сам пастор идет!». Вот раз и наткнулся так на самого короля.

— Прочь с дороги! Прочь с дороги! — завопил он еще издалека. Но король и не подумал сворачивать, ехал себе да ехал; пришлось пастору самому свернуть... Поравнявшись с ним, король и сказал ему:

— Завтра явись во дворец и, если не ответишь на три моих вопроса, быть тебе без воротника<sup>1</sup> за твою дерзость.

Вот тебе на! Горланить да буянить пастор был мастер, а на вопросы отвечать, это было не по его части. Вот и пошел он к пономарю, — а тот поумнее его был — и сказал, что ему не хочется ехать во дворец. Так пусть вместо него едет пономарь.

Пономарь поехал и явился во дворец в пасторском платье. На крыльце встретил его сам король, в короне и со скипетром, весь в золоте и серебре — так и сияет.

— Ну, явился? — говорит король.

— Да, явился; делать нечего.

---

<sup>1</sup> Подразумевается пасторский воротник, какой носят в Скандинавии пасторы (примеч. переводчика).





- Скажи же мне первым делом, далеко ли от запада до востока?
- День пути, — говорит пономарь.
- Как так? — спрашивает король.
- Да так; солнышко идет с востока на запад и в один день доходит до места! — говорит пономарь.
- Так! — говорит король. — Теперь скажи мне, чего по-твоему стою я собственной персоной, в таком вот виде, как есть?
- Что ж? Христа оценили в тридцать сребреников, так за тебя больше двадцати девяти дать нельзя! — говорит пономарь.
- Ну, ну! — говорит король. — А коли ты такой умный, так скажи мне еще, о чем я теперь думаю?
- Да ты думаешь, перед тобой пастор, а не нет, пономарь!
- Так ступай домой и будь пастором, а он пусть станет пономарем! — сказал король. И так и стало.

## Великан и Иоганн Блессом

Над двором пастора в Воге возвышается поросший соснами небольшой отрог горного хребта с ущельями и отвесными скалами. Это «Гора Великана», которую воспел норвежский поэт Сторм. В одной из ее скал природа соорудила нечто вроде ворот. Стоя на мосту, перекинутом через бешеную реку, или по ту сторону, на лугу, и глядя на эти ворота, виднеющиеся сквозь листву плакучих ив, да призвав на помощь чуточку воображения, увидишь даже двойные ворота, соединенные готической аркой. Старые белоствольные березы стоят, словно колонны, по сторонам; вершины их, однако, не достигают арки; под ней уместилась бы церковь Воге со всем, с колокольной и со шпием. Это и не простые ворота или дверь, а вход во дворец великана, «Ворота Великана», сквозь которые свободно пройдет крупнейший великан о пятнадцати головах. В старину, когда люди и тролли больше якшались между собой, если кто хотел попросить у великана взаймы денег или поговорить с ним о другом деле, бросал в эти ворота камень и кричал: «Отвори, великан!».

Несколько лет тому назад я зашел на пасторский двор. Вся семья была на сэтере, дома оставался только один старик, который по моей просьбе и свел меня к Воротам Великана. Мы постучали в них, но никто не явился отворить. Меня не удивило, что великан не желал принять нас или что он вообще теперь на старости лет так редко дает аудиенции: если судить по многочисленным знакам, оставленным на воротах камнями, посетители сильно докучали великану.

— Одним из последних видел его Иоганн из Блессома, сосед пастора, — сказал мой проводник. — Но лучше бы ему не видеть его! — прибавил он.

Этот Иоганн был в Копенгагене, — он вел тяжбу, а тут у нас в те времена правды нельзя было добиться, и кому хотелось этого, тому приходилось искать ее в Копенгагене. Так сделал и Иоганн, так сделал потом и сын его, у которого тоже была тяжба.

Вот подошел сочельник; Иоганн потолковал с важными господами, справил свои дела и идет по улице такой скучный, — стосковался по дому. Вдруг глядит, мимо проезжает человек из Воге, в белом кафтане с пуговицами, словно серебряные далеры, высокий, толстый такой. Иоганну показалось, что он узнает его, но тот ехал очень быстро.

— Спешешь ты! — сказал Иоганн.

— Да, спешу, — отозвался тот, — надо к вечеру поспеть в Воге.

— Ах, кабы и мне попасть туда! — сказал Иоганн.





— Можешь стать позади на полозья, — сказал он. — Моя лошадь в двенадцать шагов пробегает милю.

Поехали, и Иоганну пришлось крепко держаться за задок саней, чтобы не свалиться с полозьев, — санки неслись по воздуху так, что не было видно ни земли, ни неба.

В одном месте они останавливались на минуту отдохнуть, но где, этого Иоганн не мог различить, потому что они в ту же минуту помчались дальше; ему казалось только, что там на шесте торчала мертвая голова. Когда они проехали конец, Иоганн стал зябнуть.

— У! Я позабыл одну рукавицу там, где мы отдыхали; теперь рука мерзнет.

— Ну, придется потерпеть, — сказал человек, — да и недалеко уже до Воге; мы отдыхали-то на полдороге.

Не доезжая до моста, человек остановился и ссадил Иоганна.

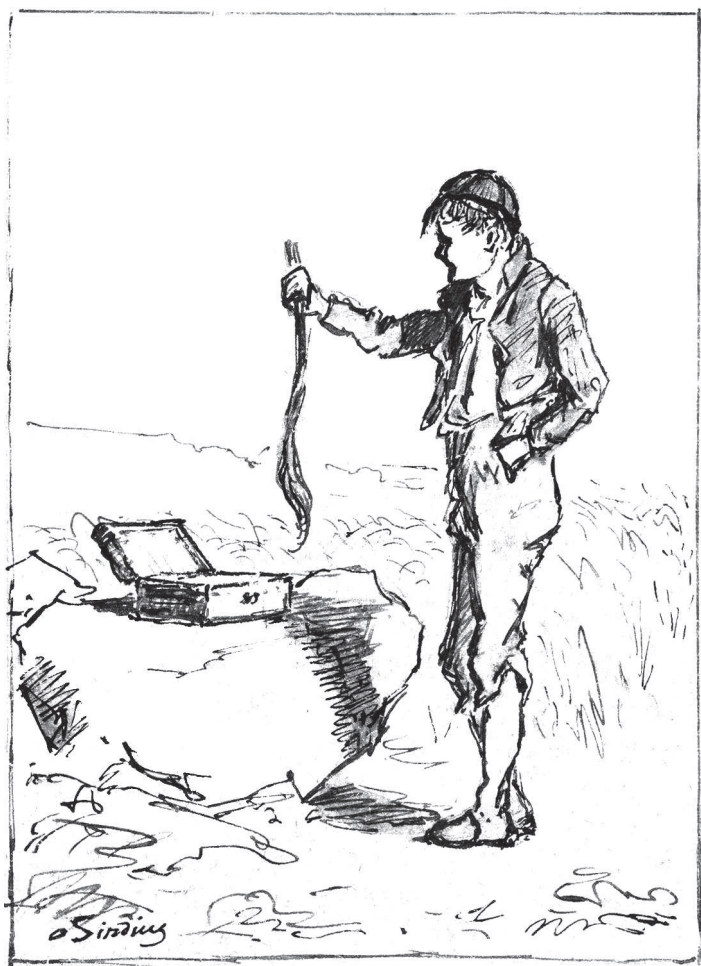
— Теперь тебе недалеко до дому, — сказал он, — ступай, но смотри, не оборачивайся назад, когда услышишь позади гром и увидишь молнию.

Иоганн обещал и поблагодарил за провоз. Человек направился через мост, а Иоганн через холм к Блессому. Вдруг слышит гром в Горе Великана, и всю дорогу перед ним осветила молния, так что стало светло, как днем; иголку и ту нашел бы. Позабыл Иоганн про наказ того человека и повернул голову, чтобы взглянуть в ту сторону. Смотрит — Ворота Великана стоят настежь, и такой свет из них льется, точно там тысячи свечей зажжены. В воротах же стоит великан — тот самый человек, который привез его. Но с тех пор голова у Иоганна так и осталась свернутой на сторону.



## Сундучок с кладом

Жил-был парнишка; шел он по дороге и нашел сундучок. «Гляди, там какой-нибудь клад спрятан!» — подумал он, но как ни вертел сундучок, открыть не мог. Прошел еще немного и нашел маленький ключик. Парнишка уже устал, сел отдохнуть да и думает: «Вот славно было бы, если б ключ-то подошел к сундучку!». Вынул он ключик, продул дырочку в нем, потом и замочную скважину в сундучке, вставил ключ... щелк, и сундучок открылся, но угадайте, что в нем было?.. Телячий хвостик! Был бы хвостик подлиннее, и сказка была бы длиннее.



## Сын вдовы

Жила-была бедная-бедная вдова с маленьким сыном. Трудно ей было кормиться с ним, но кое-как пробила до его конфирмации, а там она и сказала сыну, что ему теперь пора самому кормиться. Парень и отправился по белу свету, куда глаза глядят. Шел так с день и встретил чужого человека.

— Ты куда? — спрашивает человек.

— Куда глаза глядят; ищу службы, — говорит парень.

— Хочешь служить мне?

— Тебе ли, кому ли другому — мне все едино; лишь бы служить.

— Ну, так тебе будет хорошо у меня! — говорит человек. — Ты будешь только занимать меня, вот и вся твоя служба!

Вот парень и стал жить у него, ел-пил хорошо, дела почти никакого не было, и не видал он у своего хозяина ни души человеческой.

Раз хозяин и говорит ему:

— Я уезжаю на неделю; ты останешься один; так я запрещаю тебе входить вот в эти четыре комнаты, если ослушаешься, я тебя убью!

Парень обещал не делать этого. Но прошло дня три-четыре, он не вытерпел и зашел в одну из этих четырех комнат. Огляделся вокруг, — нет ничего, кроме полки над дверями, а на ней прут колючего терновника. «Стоило же так строго запрещать мне входить сюда!» — подумал парень. Через неделю хозяин вернулся.

— Надеюсь, ты не входил ни в одну из этих комнат? — спрашивает он у парня.

— Ни-ни! — говорит тот.

— А вот я сейчас увижу! — говорит хозяин и вошел в ту комнату, где бывал парень.

— Нет, ты таки был тут! Прощайся с жизнью!

Парень вопить, просить помилованья. Наконец хозяин решил простить его, только задал ему хорошую трепку. После того они опять зажили в ладу.

Несколько времени спустя хозяин опять уехал; на этот раз на две недели. Перед отъездом он опять запретил парню входить в какую-либо из остальных трех комнат; в ту же, где побывал, может входить, сколько душе угодно. И на этот раз вышло все так же; только парень крепился уже целую неделю, и тогда только вошел в одну из остальных комнат. И тут он не нашел ничего, кроме полки с булыжником и бутылкой воды. «Было из-за чего так строго наказывать мне не входить сюда!» — опять подумал парень.

Вернувшись, хозяин спросил парня, не был ли он в одной из тех комнат. Куда тебе! Парень заперся.

— А вот сейчас увижу! — говорит хозяин, пошел в комнату, узнал, что парень все-таки был там, и говорит: — Ну, теперь уж я тебя не помилую, прощайся с жизнью!

Парень опять вопить и молить о пощаде, и хозяин опять смиловался над ним, зато уж палок отсчитал ему, сколько влезло. Потом опять зажили вместе, как ни в чем не бывало.

Еще через несколько времени хозяин опять уехал, на целых три недели, и опять строго-настрого заказал парню входить в остальные две комнаты, иначе уж несдобровать ему. Целых две недели крепился парень, наконец не вытерпел, прошмыгнул туда, но ничего не увидел, кроме люка в полу. Он приподнял крышку и заглянул вниз. Там стоял большой котел, и в нем что-то кипело и бурлило, хотя огня под ним никакого и не было. «А любопытно бы узнать, горячо ли там!» — подумал парень и сунул в котел палец. Когда он вынул палец, он оказался весь золотым. Парень его мыть, вытирать, нет, позолота не сходит, да и только. Вот он взял да и обвязал палец тряпкой. Хозяин вернулся, спрашивает, что у него с пальцем, а парень говорит: обрезал. Но хозяин сорвал тряпку и увидел, в чем дело. Сначала он хотел тут же убить парня, но парень так просил и молил, что хозяин только вздул его, зато так, что он три дня встать не мог. Тогда хозяин взял банку с мазью, помазал этой мазью парня, и тот встал как встрепанный.

Спустя несколько времени хозяин опять уехал, на целый месяц, сказав парню, что если он войдет в четвертую комнату, то не бывать ему в живых ни за что. Две-три недели крепился парень, но больше не мог и прокрался в комнату. Там на привязи стояла большая черная лошадь; к морде ее была придвинута жаровня с горячими углями, а к хвосту ясли с сеном. Парню показалось, что это непорядок, он взял да и переставил жаровню и ясли. Тогда лошадь сказала:

— За то, что у тебя доброе сердце и ты хотел покормить меня, я тебя спасу. Но ты сначала ступай в комнату, что как раз над этой, и сними там со стены латы, только не бери блестящих, а самые заржавленные изо всех; возьми также и меч, и седло, тоже похуже.

Парень так и сделал и, хоть и тяжело ему было, притащил все к лошади. Тогда она велела ему раздеться догола и искупаться в котле, который был под полом в первой комнате. «Хорош я буду!» — подумал парень, но сделал, как



ему было велено. Икупался он и стал таким молодцом-красавцем, белым, румяным, что кровь с молоком, и куда сильнее прежнего.

— Чувствуешь перемену? — спрашивает лошадь.

— Да, — говорит парень.

— Попробуй-ка поднять меня! — говорит лошадь. Парень и поднял. Меч тоже стал для него, что перышко.

— Теперь оседлай меня тем седлом, — говорит лошадь, — надень на себя латы, возьми прут из терновника, камень, бутылку с водой, банку с мазью и поедем.

Парень сел на нее, и они помчались во весь дух. Ехали-ехали, лошадь и говорит:

— Мне чудится топот позади. Погляди, нет ли погони?

— Целая ватага, штук двадцать гонятся! — говорит парень.

— Это тролль со своими! — говорит лошадь.

Вот и стали те их нагонять.

— Брось теперь через плечо терновый прут! — говорит лошадь. — Только смотри, подальше от меня!

Парень бросил, и вмиг позади них вырос густой лес из терна. Парень и успел отъехать далеко-далеко, пока тролли ездили домой за топорами, чтобы было чем прорубить просеку. Потом лошадь опять говорит:



— Оглянись-ка, не увидишь ли чего?  
— Теперь целая толпа скачет! — говорит парень.  
— Это тролль собрал еще больше народу! Брось теперь камень, только подальше от меня!

Парень бросил, и позади них выросла огромная гора. Пришлось троллям ворочаться домой за кирками и лопатами, чтобы скрыть гору, а парень тем временем далеко уехал.

Несколько времени спустя лошадь опять велела ему оглянуться, нет ли кого позади.

— Целое войско в блестящих латах, — как жар горят!  
— Это тролль; теперь он забрал с собой всех своих. Брось назад бутылку с водой, только берегись на меня брызнуть!

Парень так и сделал, но как-то нечаянно плеснул несколько капель на круп лошади. Вмиг сделалось огромное озеро, в котором очутилась и лошадь, но недалеко от берега, так что скоро выплыла на него. Тролли же, подъехав к озеру, нагнулись и давай хлебать; хлебали-хлебали, озера не выхлебали, а сами лопнули.

— Ну, теперь отделались от них! — говорит лошадь.

Ехали да ехали и выехали на зеленую поляну в лесу.

— Снимай теперь с себя латы и надевай свои лохмотья, — говорит лошадь, — расседлай меня, спрячь все в дупло этой липы, сделай себе парик из мха и ступай на королевский двор — он тут близехонько — и проси работы. А когда я понадобится тебе, только приди сюда да тряхни уздечкой.

Парень так все и сделал, надел лохмотья и парик из мха и стал таким замарашкой, что никто бы и не признал его. Пришел он к королю во двор и стал проситься на службу при кухне, таскать воду и дрова. Но судомойка сказала:

— Зачем на тебе такой гадкий парик? Сними, я не хочу видеть такого уроды.

— Нельзя, — говорит парень, — у меня голова паршивая.

— Так разве я возьму такого на кухню? — сказал повар. — Ступай в конюшню навоз вычищать, это тебе больше пристало.

Но главный конюх тоже велел ему снять парик, и когда узнал, в чем дело, тоже не пожелал взять его на службу.

— Ступай к садовнику, землю копать, это тебе больше пристало.

Наконец садовник оставил его у себя, но никто из других слуг не захотел спать с ним, так что ему пришлось спать в саду, под лестницей беседки, стоявшей на высоких столбах.

Вот раз утром, на восходе солнышка, снял он с себя свой гадкий парик и начал умываться и такой стал красавец, что просто загляденье.

Увидала его из своего окна принцесса, загляделась, — такого красавца она сроду не видывала. Она и спросила у садовника, отчего этот работник спит под лестницей.

— Да никто из слуг не хочет спать с ним в одной комнате! — сказал садовник.

— Пусть же он придет вечером и ляжет у моих дверей! — сказала принцесса. — Тогда и они, небось, перестанут брезговать им!

Садовник передал это парню.

— Так я и пошел! — говорит парень. — Еще подумают, что я приглянулся принцессе.

— Да-да, как раз и подумают про такого урода!

— Ну, коли велют, я пойду! — говорит парень.

Вечером, когда ему велели отправляться спать, он так затопал и загромыхал по лестнице, что пришлось попросить его быть потише, чтоб король не услышал. Улегся он и тотчас же захрапел во все горло. Тогда принцесса сказала служанке:

— Подкрадись к нему и сними с него парик!

Служанка подкралась, но только хотела стащить парик, как парень схватился за него обеими руками и сказал, что ни за что не даст своего парика. После того он опять повалился и захрапел. Принцесса подала знак служанке, и та стащила-таки с парня парик. Парень и стал опять таким же красавцем, каким видела его принцесса в саду на восходе солнышка. С тех пор парень каждую ночь спал возле принцессиной комнаты, и принцесса на него любовалась.

Только вдруг об этом узнал король и страшно разгневался, хотел было немедля казнить парня, да смиловался и только посадил его в темницу, а принцессу запер в ее комнате, чтобы она не смела выходить оттуда ни днем, ни ночью. Ни слезы, ни просьбы не помогли ей. Король только больше гневался.

Вскоре началась война, и королю пришлось драться с другим королем, который хотел отнять у него царство.

Услыхав об этом, парень упросил тюремщика пойти к королю и выпросить для него латы, меч и коня, чтобы и он мог идти воевать. Все покатались со смеху, когда тюремщик передал просьбу парня, и стали просить короля, чтобы он дал этому уроду какое-нибудь негодное оружие, — то-то смеху будет поглядеть, как он соберется на войну!

Вот парню и дали такое вооружение, да, кстати, негодную старую клячу, которая ковыляла на трех ногах, а четвертая волочилась.

Отправились они на неприятеля; не успели отъехать от королевского двора, как парень со своей клячей завяз в болоте. Уж он стегал-стегал ее, приговаривая: «Эй ты, ну! Эй ты, ну!». Она все ни с места. Другие покатывались со смеху. Но только они все проехали, парень соскочил с клячи, кинулся в лес, к липе и тряхнул уздечкой. Тотчас явилась лошадь и сказала: «Делай свое дело, а я уж свое сделаю!»

Когда парень явился, битва уже началась, и королю приходилось плохо. Не успели оглянуться, как парень разогнал неприятеля. Король и все его войско диву дались, кто бы это такой помог им, но никому не удалось приблизиться к чужому воину, а как только битва кончилась, его и след простыл.





Когда король с войском возвращался обратно, парень по-прежнему сидел на своей кляче в болоте и стегал ее без толку. Они давай хохотать:

— Глядите-ка, дурак-то все еще тут сидит!

На другой день, когда они опять выехали сражаться, парень сидел все там же. Опять они досыта насмеялись над ним и проехали. Тогда он мигом соскочил с клячи, кинулся к липе, и все опять пошло, как вчера. Все дивились на незнакомого воина, но никому не удалось приблизиться к нему и заговорить с ним. Понятно, никому и в голову не могло прийти, что это парень.

Возвращаются они все вечером домой, глядят — он все еще в болоте. Опять давай над ним потешаться, и один даже пустил ему в ногу стрелу. Парень принялся вопить напропалую. Тогда король бросил ему свой платок, чтобы он перевязал ногу.

На третий день едут они опять на поле битвы, а парень все на том же месте стегает свою клячу: «Эй ты, ну! Эй ты, ну!».

— Нет, он тут с голоду помрет, а не вылезет! — сказали придворные и так хохотали над ним, что еле на конях усидели. Когда же они все проехали, парень кинулся к липе и поспел на битву как раз в самую пору. На этот раз он убил неприятельского короля и положил конец войне.

Когда битва кончилась, король увидал у незнакомого воина на ноге свой носовой платок и узнал, кто это. С торжеством окружили они парня и повели во дворец. Принцесса увидала их из окна и так обрадовалась, что и сказать нельзя.

— Вот и мой жених едет! — сказала она.

А парень взял банку с мазью, помазал себе ногу, помазал всех раненых, и все сразу выздоровели. Потом он стал женихом принцессы. Когда же он в день свадьбы пришел на конюшню к своей лошади, он увидал, что она стоит, понутив голову, и не ест. Молодой король, — парень получил полцарства и сам стал королем — спросил, что с ней, и лошадь сказала:

— Я сослужила тебе службу и больше не могу жить; теперь возьми меч и сруби мне голову.

— Нет, этого я не сделаю! — говорит молодой король. — У тебя будет все, что душе угодно, ты будешь жить в полном довольстве и покое.

— Ну, коли ты меня не убьешь, я сумею тебя убить! — говорит лошадь.

Пришлось молодому королю взять меч. Замахнулся он, а сам отвернул голову, чтобы не видеть смерти лошади, так он был огорчен. Но не успел он отрубить ей голову, как перед ним очутился красавец-принц.

— Откуда ты взялся? — говорит король.

— Да ведь это я был лошадью! — сказал принц. — Прежде я был королем той страны, с которой вы воевали, но тот король, которого ты теперь убил, заколдовал меня и продал троллю, а сам завладел моим царством. Теперь я опять верну его себе, и мы будем соседями, но воевать друг с другом никогда не станем!

Так и сделалось; они всю жизнь были друзьями и часто ездили друг к другу в гости.





На восток от солнца,  
на запад от месяца

Жил-был один бедный крестьянин; детей у него была куча, а ни кормить, ни одеть их было нечем. Все дети уродились красивые, но краше всех самая младшая из дочерей; другой такой красавицы днем с огнем было не сыскать.

Однажды глубокой осенью, в четверг вечером, поднялась на дворе непогода — темень, дождь и такой ветер, что стекла дрожали. Все дети сидели у очага и занимались своим делом. Вдруг в окошко кто-то стук-стук-стук — три раза. Отец вышел поглядеть, кто там такой, и увидал у дверей огромного белого медведя.

— Здравствуй! — говорит медведь.

— Здравствуй! — говорит крестьянин.

— Отдай за меня младшую дочку, и я сделаю тебя таким же богачом, какой ты теперь бедный, — говорит медведь.

Крестьянину это пришлось по мысли, но сначала надо было все-таки поговорить с дочкой. Пошел и сказал ей, что там у дверей стоит большой медведь, который обещает им богатство, если она согласится выйти за него. Она отказалась наотрез, тогда отец пошел к медведю и уговорился с ним, что тот придет за ответом через неделю. Тем временем все принялись уговаривать дочку, говорили



ей, как она осчастливит их всех и как ей самой будет хорошо. Наконец она согласилась, вымылась, принарядилась как могла, и собрала в дорогу свои пожитки; немного-то их набралось, один узелок всего-навсего.

В следующий четверг вечером пришел белый медведь. Она села ему на спину, взяла свой узелок, и они отправились. Когда они отъехали уже довольно далеко, белый медведь спросил ее, не боится ли она?

— Нет.

— И бояться нечего; ты только крепче держись за шерсть, — сказал он.

И вот они уехали далеко-далеко. Наконец добрались до большой скалы. Медведь постучал, скала раскрылась, и они очутились в замке с множеством ярко освещенных покоев, где все блестело золотом и серебром. В большом зале был накрыт роскошный стол со всякой всячиной; великолепие было такое, что и рассказать нельзя. Белый медведь дал девушке серебряный колокольчик и сказал, что ей стоит только позвонить, если ей чего-нибудь захочется. Девушка поела, и ей с дороги захотелось поскорее отдохнуть, она и позвонила в колокольчик. Только позвонила, как очутилась в комнате, где стояла роскошная постель с шелковыми наволочками и одеялами и балдахин с золотыми кистями. Мебель и здесь вся была из золота и серебра. Когда девушка легла и потушила свечу, в комнату кто-то вошел и тоже лег спать. Это был сам белый медведь, который по ночам сбрасывал с себя шкуру. Так было каждую ночь, но девушка никогда не видела его в лицо, — приходил он вечером, когда она уже тушила свечу, а утром исчезал до рассвета.

Прошло несколько времени, и девушка начала скучать, — все одна да одна; крепко соскучилась она по родным. Белый медведь заметил, что она ходит невеселая, и спросил, что с ней; она и сказала.

— Ну, этому горю помочь можно! — сказал он. — Только обещай мне, что ты не будешь дома говорить с матерью наедине; она возьмет тебя за руку и поведет в комнату, чтобы поговорить с тобой без других, но ты не поддавайся, а то беда будет и тебе, и мне.

В воскресенье белый медведь явился и сказал, что теперь они могут отправиться в путь к ее родителям. Она села ему на спину, и они поехали. Ехали-ехали, наконец добрались до большого белого крестьянского двора; на дворе резвились ее братишки; все вокруг было так хорошо, что сердце радовалось.

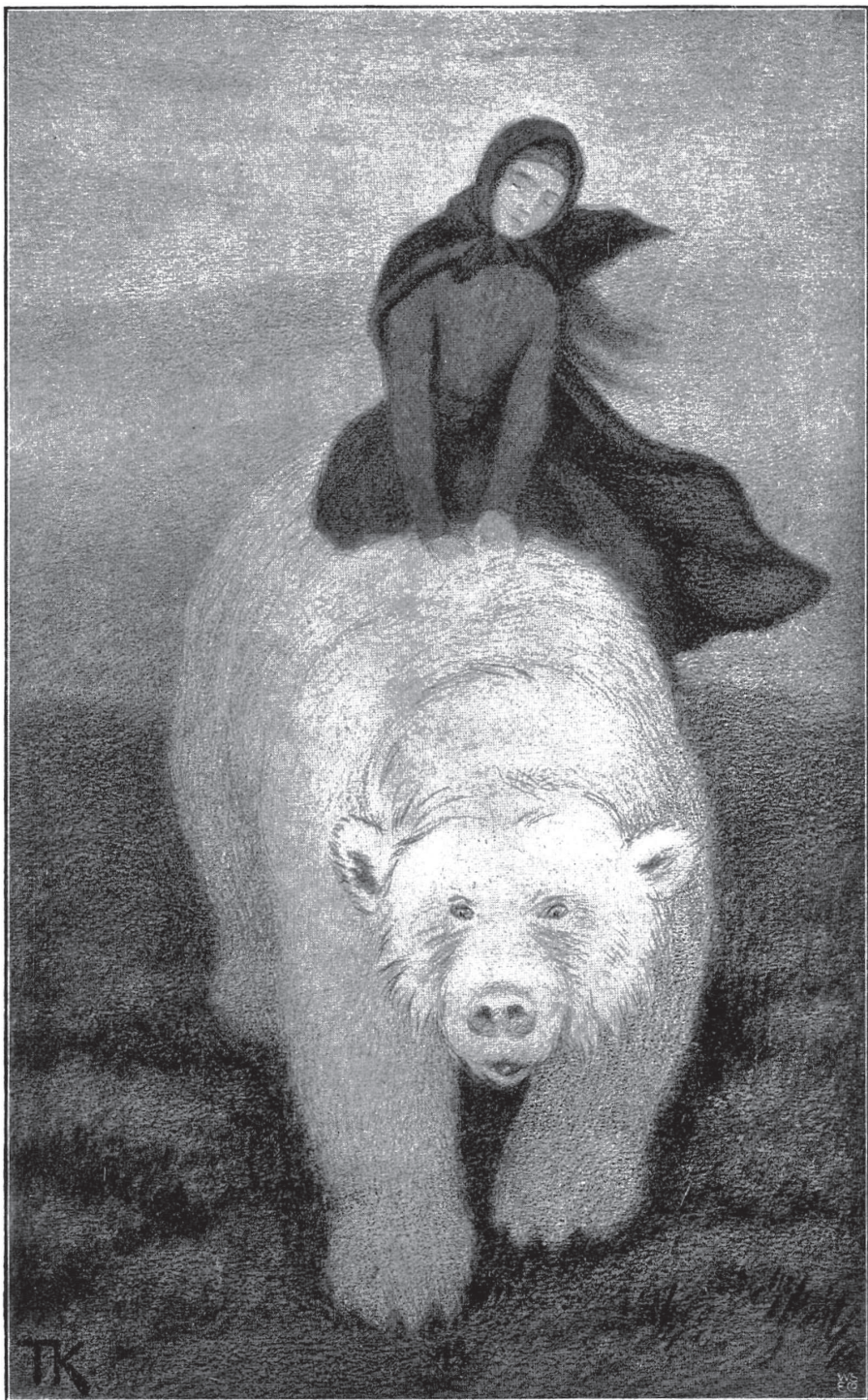
— Вот тут живут твои родители, — сказал белый медведь. — Но не забывай, что я сказал тебе, иначе ты сделаешь несчастными нас обоих.

— Нет-нет, как можно, не забуду!

Медведь оставил ее у ворот и ушел.

Вот обрадовались ей, и родители, и братья, и сестры! Не знали, как и благодарить ее за то, чем они ей были обязаны, спрашивали, как живет ей самой, и радовались за нее, узнав, что у нее ни в чем нет недостатка. После обеда и вышло, как говорил медведь. Мать захотела поговорить с ней наедине. Девушка вспомнила слова медведя и стала отговариваться:

— Знаю, о чем ты хочешь говорить, да успеем еще наговориться об этом!



*Она села ему на спину, и они поехали.*

Но как бы то ни было, матери все-таки удалось поговорить с нею, и девушке пришлось рассказать про медведя, который ночью становился человеком. Страсть хотелось ей увидеть его, а то так скучно, все одна да одна.

— У! Это, пожалуй, тролль! — сказала мать. — Надо тебе посмотреть на него! Я научу тебя, как быть. На вот, возьми сальный огарок, спрячь его за пазуху, и ночью, когда тот заснет, тихонько засвети огарок и посмотри. Берегись только, не капни на него горячим салом.

Девушка взяла огарок и спрятала его за пазуху. Вечером белый медведь пришел за нею и увез ее.

Когда отъехали уже порядочный конец, медведь и спросил, не говорила ли она все-таки с матерью? Она не стала отпираться.

— Ну, если ты теперь поддашься советам матери, то накликаешь беду на нас обоих, — сказал он.

— Нет, как можно!

Ночью, как всегда, в комнату явился человек и лег. Когда девушка услышала, что он спит, она встала, засветила огарок и поглядела на спящего. Перед нею лежал красавец принц. Она так обрадовалась, что не могла не поцеловать его, да по нечаянности и капнула на него три капли горячего сала. Он и проснулся.

— Что ты наделала? — сказал он. — Теперь мы оба будем несчастны. Если бы ты выдержала с год, ты бы спасла меня. Это мачеха заколдовала меня, так что я днем должен быть медведем и только ночью становлюсь человеком. Теперь все кончено, и я должен уехать от тебя к ней в замок, который лежит на восток от солнца, на запад от месяца, и жениться там на принцессе с носом в три аршина!

Горько заплакала девушка, но делать было нечего. Стала она расспрашивать его, нельзя ли и ей отправиться с ним.

— Нет, никак нельзя.

— Так укажи мне хоть дорогу; я отыщу тебя. Это ведь можно?

— Да, можно; только туда нет никакой дороги. Замок лежит на восток от солнца, на запад от месяца; туда тебе не добраться.

Утром проснулась она — ни принца, ни дворца; лежит она на зеленой лужайке, в темном густом лесу, а рядом с нею ее узелок с тряпьем, который она принесла с собой из дому. Протерла она глаза, заплакалась и пошла. Шла-шла много дней и пришла к большой горе. Под горой сидела старая-престарая старуха и играла золотым яблоком. Девушка спросила ее, не знает ли она, как пройти к принцу, который теперь в замке своей мачехи, на восток от солнца, на запад от месяца, и должен жениться на принцессе с трехаршинным носом.

— Откуда ты знаешь его? — спросила старуха. — Уж не на тебе ли он хотел сперва жениться?

— Да! Да!

— Так это ты? — говорит старуха. — Ну, и я ничего о нем не знаю, кроме того, что он живет в замке, на восток от солнца, на запад от месяца. Доберешься ты туда поздно, или никогда не доберешься. Да и то надо тебе взять у меня





*...она встала, засветила огарок и поглядела на спящего.*

лошадь и поехать сначала к моей соседке, может быть, она научит тебя, как быть. А как приедешь туда, ударь лошадь по левому уху и вели идти домой. Да возьми вот это золотое яблоко.

Девушка села на лошадь и поехала. Долго-долго ехала она и наконец приехала к большой горе, перед которой сидела старуха с золотым мотовилом<sup>1</sup>. Девушка спросила ее, не знает ли она дороги к замку, что лежит на восток от солнца, на запад от месяца. И эта старуха не знала ничего, кроме того, что он лежит на восток от солнца, на запад от месяца, «а туда ты попадешь поздно или никогда; но я могу дать тебе мою лошадь; она довезет тебя до моей соседки; может быть, она знает дорогу. Когда же приедешь к ней, ударь лошадь по левому уху и вели ей вернуться домой». На прощанье старуха дала девушке золотое мотовило, сказав, что оно ей может пригодиться.

Девушка села на лошадь и поехала. Долго ли, коротко ли она ехала, наконец приехала к большой горе, перед которой сидела старая старуха и пряла на золотой прялке. Девушка и ее спросила, не знает ли она дороги в замок, что лежит на восток от солнца, на запад от месяца.

— Уж не на тебе ли принц-то хотел жениться? — спросила старуха. «Да-да, на ней». Но и эта старуха знала не больше других: замок лежал на восток от солнца, на запад от месяца, и девушка могла попасть туда лишь поздно, или никогда не попасть. Пусть возьмет у старухи лошадь и отправится к восточному ветру.

— Может быть, он знает дорогу и отнесет тебя туда. Когда же приедешь к ветру, ударь лошадь по уху, и она вернется домой. — Затем старуха дала девушке золотую прялку. — Может быть, пригодится.

Долго пришлось ехать девушке, пока она добралась до восточного ветра и спросила его, как найти дорогу к принцу и замку, что лежит на восток от солнца, на запад от месяца.

О принце и о замке ветер слышал, но дороги туда не знал; так далеко ему не случилось дуть.

— Но если хочешь, я снесу тебя к моему брату, западному ветру; может быть, он знает, — он дует куда сильнее. Садись ко мне на спину, и я отнесу тебя туда.

Она так и сделала, и они понеслись.

Когда они добрались до западного ветра, восточный ветер рассказал ему, что принес с собой девушку, на которой хотел жениться принц, обитающий теперь в замке на восток от солнца и на запад от месяца, и что она хочет отыскать его. Вот они и явились к западному ветру спросить, не знает ли он туда дороги.

— Нет, так далеко мне не случилось дуть! — сказал западный ветер. — Но если хочешь, я снесу тебя к южному ветру, он куда сильнее нас и рыщет по всему белому свету; может быть, он скажет тебе. Садись ко мне на спину, и полетим.

<sup>1</sup> *Мотовило* — приспособление для сматывания нити с веретена (*примеч. ред.*).





*Протерла она глаза, выплакалась и пошла.*



Она так и сделала, и они понеслись к южному ветру. В пути, конечно, не замешкались, и западный ветер стал спрашивать южного, не может ли он указать девушке дороги к замку, что лежит на восток от солнца, на запад от месяца, — это на ней принц хотел жениться.

— Так это она? — спросил южный ветер. — Да, я таки побывал кое-где на белом свете, но так далеко мне не случалось дуть. А вот хочешь, я снесу тебя к моему брату, северному ветру. Он самый старший и сильный из нас, а если уж он не знает, так тебе ни от кого не узнать. Садись мне на спину, и я снесу тебя к нему.

Она села ему на спину, и они понеслись так, что любо. Ну, и недолго, конечно, пришлось лететь. Когда они явились туда, где обитал северный ветер, на них еще издали повеяло холодом, так он бесновался.

— Вам что тут нужно! — завопил он им издалека, так что у них мороз по коже пробежал.

— Ну-ну, не сердись, — сказал южный. — Это ведь я, а со мной та девушка, на которой хотел жениться принц, что живет теперь на восток от солнца, на запад от месяца. Она и хочет спросить тебя, не бывал ли ты в тех краях и не можешь ли указать ей дорогу туда; ей бы так хотелось отыскать своего принца.

— Знаю, знаю, где он, — сказал северный ветер. — Один раз я таки донес туда осиновый листочек, да так устал, что несколько дней и не дул совсем. Но если ты непременно хочешь попасть туда и не боишься отправиться со мной, я возьму тебя на спину и попробую добраться с тобой.

Да, ей непременно нужно добраться туда, все равно каким путем; бояться она не боялась, как бы плохо там ни пришлось.

— Ну, так переночуй здесь, — сказал северный ветер. — На путь нам понадобится целый день.

На другой день северный ветер разбудил ее ранним утром, раздулся сам так, что смотреть было страшно, и понес ее по воздуху с такой быстротой, точно стремился на самый край света. В селеньях, над которыми они пролетали, подымался такой ураган, что валялись деревья и дома, а на море такой шторм, что корабли гибли сотнями. Залетели они далеко-далеко, просто и представить себе нельзя, как далеко; под ними было море. Северный ветер стал уже уставать все больше и больше, опускался все ниже и ниже и, наконец, полетел так низко, что волны доставали до ног девушки.

— Страшно тебе? — спрашивает ее северный ветер.

— Нет, — говорит она. Она и правда не боялась. К счастью, они были уже недалеко от земли, и у ветра как раз хватило силы выкинуть девушку на берег под окна замка, что лежал на восток от солнца, на запад от месяца. Зато и устал же он, обессилел так, что пришлось ему несколько дней лежать пластом и отдыхать, прежде чем пуститься в обратный путь.

На другой день утром села девушка под окнами замка и давай играть золотым яблоком. Вдруг видит, принцесса с трехаршинным носом отворила окно и спрашивает:



— Сколько хочешь за свое яблоко?

А девушка и говорит:

— Это яблоко не продажное!

— Не продажное, так что же ты за него хочешь? Требуй что угодно! — говорит принцесса.

— Ну, если мне позволят провести ночь в комнате принца, который живет тут в замке, так я, пожалуй, уступлю тебе яблоко! — говорит девушка.

На это принцесса была согласна. Девушка отдала ей яблоко, но когда пришла вечером в комнату принца, он спал. Уж она будила его, будила, и звала, и трясла его, и плакала над ним, нет, так и не проснулся. Утром же, чуть рассветало, носатая принцесса выгнала ее вон.

Тогда она опять уселась перед окнами замка и стала вертеть золотое мотовило, и опять все вышло так же. Принцесса спросила, сколько она возьмет за свое мотовило, а она сказала, что оно не продажное, но если ей позволят провести ночь в комнате принца, то она отдаст принцессе мотовило.

И на этот раз принц спал крепким сном, когда девушка пришла вечером в его комнату. Как она ни будила его, как ни плакала, не добудилась, а утром на заре носатая принцесса выгнала ее вон.

Днем девушка опять уселась под окнами замка и стала прясть на золотой прялке. Носатой принцессе приглянулась и прялка. Она открыла окно и спросила, что девушка возьмет за прялку. Девушка и на этот раз сказала, что прялка не продажная, но что если ей позволят провести ночь в комнате принца, то она отдаст прялку принцессе.

— Это можно, — сказала принцесса и получила прялку.

В замке же было в плену еще несколько крещеных людей; они сидели в комнате рядом со спальней принца и слышали, как там убивалась какая-то женщина две ночи подряд. Они и рассказали об этом принцу. Вечером, когда принцесса явилась к нему с питьем, он не стал пить, а потихоньку вылил его на пол, — он догадался, что это было сонное питье. Девушка вошла в комнату и нашла принца не спящим. Тут она и рассказала ему, как добралась сюда.

— И вовремя! — сказал принц. — Завтра была бы моя свадьба. Но я не хочу жениться на этой носатой принцессе, и ты одна можешь спасти меня. Я скажу, что хочу сперва посмотреть, годится ли к чему-нибудь моя невеста, и попрошу ее выстирать мне ту рубашку с тремя сальными пятнами. Она согласится, так как не знает, что эти пятна сделала ты и что их поэтому может отмыть только крещеная душа, а не ведьмино отродье. А я тогда и заявлю, что женюсь только на той девушке, которая сумеет отстирать пятна. Ты же сумеешь, я знаю.

Ночь прошла у них в радости и веселье. На другой день должны были сыграть свадьбу, но принц сказал:

— Посмотрю сначала, к чему годна моя невеста.

— Это можно! — сказала мачеха.

— Есть у меня тонкая рубашка, которую я хочу надеть под венец, но ее закалили салом, так надо ее выстирать, и я пообещался, что женюсь только на той девушке, которая сумеет это. Если же принцесса не сумеет, она недостойна меня.

— Это нам ничего не стоит! — сказала мачеха, и принцесса принялась за стирку изо всех сил, но чем больше терла и мыла, тем больше расплывались сальные пятна.

— Ах, не умеешь ты! — сказала ей старая ведьма, ее мать. — Давай мне!



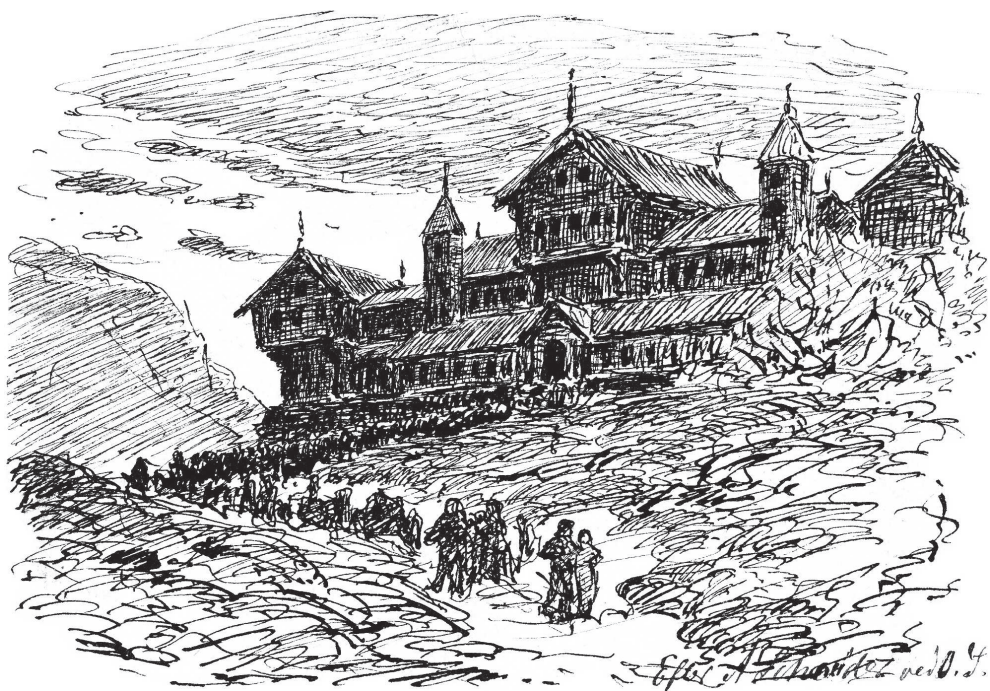
Но едва она взялась за рубашку, как та стала еще грязнее, и чем больше старуха мыла и терла, тем больше и больше расплывались пятна. Тогда принялись стирать все остальные тролли, но рубашка становилась только все грязнее и грязнее и под конец стала такой, точно ее из трубы вынули.

— Никуда вы все не годитесь! — сказал принц. — Вон там, под окном, сидит нищая; я уверен, что она сумеет выстирать рубашку лучше вас всех. Эй ты, поди сюда! — крикнул он девушке. Она вошла. — Можешь ты отстирать мне эти пятна? — спросил принц.

— Не знаю, попробую, — ответила она и только обмакнула рубашку в воду, как рубашка стала белее снега.

— Ну вот, на тебе я и женюсь! — сказал принц.

Старая ведьма, мачеха принца, так разозлилась, что лопнула от злости; да и носатая принцесса с остальными троллями, должно быть, перелопались с досады, потому что я больше о них ничего не слыхал. Принц и невеста его освободили тогда всех заключенных в замке крещеных людей, забрали с собой столько золота и серебра, сколько могли увезти, и уехали далеко-далеко от замка, что лежал на восток от солнца, на запад от месяца.



### Замарашка, который перешеголял во лжи принцессу

Жил-был король, у которого была дочь, такая лгунья, что хуже и не сыскать. Вот король и объявил, что кто перешеголяет принцессу во лжи и заставит ее сказать себе: «Ты врешь», женится на ней и получит в приданое полцарства. Много находились охотников получить в жены принцессу, а с ней полцарства, но плохо пришлось им всем.

Вот пришли раз попытать счастья три брата. Старшие попробовали первые и ничего не добились, как и другие. Тогда пришел черед идти Замарашке. Он застал принцессу в хлеву.







— Здравствуй, — говорит он ей, — и спасибо за все хорошее!

— Здравствуй, — говорит она, — и тебе спасибо! А у вас нет такого большого хлева, как у нас. У нас, когда два пастуха стоят на разных концах хлева и трубят в рога, то не слышат друг друга.

— Эге, наш хлев куда больше! — отвечает ей Замарашка. — У нас, если корова забредет в хлев с одного конца, так и не доберется до другого во всю жизнь.



— Вот как! — говорит принцесса. — Зато у вас нет такого огромного быка, как у нас. Если на каждый рог сядет по человеку с шестом в руках, то им не достать друг до друга даже шестами.

— Пф! — говорит Замарашка. — У нас есть такой огромный бык, что если на рогах у него сидит по человеку и они трубят в рога, то один не слышит другого.

— Вот как, — говорит принцесса, — зато у вас меньше молока, чем у нас. У нас доят в большие ведра, выливают в котлы и творожат огромные сыры.

— О, мы доим прямо в кадки, выливаем в чаны и делаем сыры величиной с дом; возит же эти сыры в кучу пегая кляча, но раз она ожеребилась тут в сырах, и мы ели-ели один сыр семь лет, да вдруг и нашли в нем большую пегую лошадь. На этой лошади я раз поехал на мельницу, вдруг у лошади сломалась спина. Я, не долго думая, взял сосновую ветку и всадил ей вместо спины; с тех пор она так и бегала с сосновой спиной. Но ветка пустила побеги, они стали расти и выросли до самого неба. Я взял да и влез по ним туда. Гляжу, сидит женщина и сучит веревки. Вдруг ветка-то и обломись. Как мне назад спуститься? Женщина и спустила меня на веревочке в лисью нору. А там сидят моя мать и твой отец и кладут заплатки на сапоги. Вдруг мать моя как хватит твоего отца колодкой по голове, так у него вся паршь и соскочила...

— Врешь ты, никогда мой отец паршивым не был, — крикнула принцесса. Вот ее и перещеголяли.





### Вечер в кухне у помещика

Унылый выдался вечер; вьюга так и бушевала; свечка в комнате еле мигала, слабо освещая лишь некоторые отдельные предметы: стеклянный колпак, прикрывавший разные китайские безделушки, большое зеркало в старинной золоченой раме, серебряную дедовскую кружку и пр. В комнате были только мы двое, сам помещик да я. Я сидел в одном углу дивана с книжкой в руках, а хозяин в другом, углубившись в размышления. Потом он стал развивать передо мной свои политические взгляды, изложенные им в своей анонимной брошюре «Несколько патриотических слов на пользу Отечеству». Я давно знал все это наизусть, так как слышал в двадцать третий раз. Ангельским терпением я не обладаю, но что же было делать, куда спастись? В моей комнате мыли пол к празднику, и там до сих пор клубами стоял пар. После нескольких напрасных попыток углубиться в книгу пришлось покорно подставить голову под ушат красноречия помещика. А тот сел на своего конька, как говорится. Положив свой старый, потертый красный сафьяновый колпак возле себя на диван и обнажив большую лысину и остатки седых волос на макушке, он горячился все больше и больше, размахивал руками, бегал взад и вперед по комнате, так что пламя свечи колыхалось из стороны в сторону, а широкие фалды его



серого суконного сюртука развевались по воздуху и описывали круг всякий раз, как он делал поворот и привскакивал на длинной своей ноге, — помещик был хром. Крылатые слова его жужжали у меня в ушах, словно гуденье роя майских жуков в вершине липы. Наконец мочи моей не стало слушать ходульные фразы помещика. Из кухни доносились взрывы смеха; рассказчиком был Кристен-кузнец; он, видно, только что закончил какую-то историю и вызвал новый взрыв смеха.

Я встал и вдруг прервал беседу:

— Хочу пройти на кухню послушать, что там рассказывает кузнец! — И я оставил помещика с его тусклым огарком и взбудораженной головой.

— Детские бредни, вздор! — проворчал он мне вслед. — Образованному человеку стыдно. А вот патриотические слова...

Остального я не слышал. В просторной, высокой кухне было оживленно и весело. В углу в печке трещал огонь. У печки восседала за прялкой сама старуха помещица. Она уже много лет воевала с ревматизмом, защищаясь от него множеством юбок и кофт, а сверх всего надевая еще огромный суконный балахон; несмотря на это, ее лицо сияло из-под белого головного убора, как полная луна. По краям лежанки сидели внучата старухи, щелкая орехи и хохоча над





рассказами кузнеца. Вокруг разместились девушки и женщины-работницы с прялками и веретенами.

Постучав в прихожей ногами, чтобы отряхнуть с них снег, гурьбой вошли в кухню молотильщики с мякиной в волосах и уселись за длинный стол, на котором был поставлен для них ужин: большой горшок молока да две миски крутой каши. К печной стене прислонился кузнец, покуривая коротенькую трубку, и лицо его, еще сохранявшее следы пребывания в кузнице, было серьезно-насмешливо; видно было, что он тут играет первую скрипку и имеет успех.

— Добрый вечер, кузнец, — сказал я. — Что ты тут такое рассказываешь, всех смешишь?

— Хи-хи-хи! — радостно захихикали мальчуганы. — Кристен рассказывал нам про мужика и про черта, потом как черт попал в орех к парнишке, а теперь хочет рассказать о Пере Сонуме, которому нечистая сила остановила лошадь!

— Да, — начал кузнец. — Пер этот был из Сонума, что к северу от церкви. Он был знахарь, и за ним часто присылали лошадь и сани, когда звали к больным; он лечил и людей, и скот, как и наша Берта Туппенхауг. Только как-никак, а видно, он не больно хитер был, потому что однажды нечистые целую ночь продержали его на лугу за домом связанным и с головой, свороченной набок; да неладно вышло и в тот раз, про который хочу рассказать вам. Этот самый Пер не умел жить в ладу с людьми все равно, как вот... гм, гм... ну, одним словом, был такой спорщик и вздорщик, что со всеми ссорился.

Вот раз и было у него с кем-то дело в суде в Христиании; вызвали его в суд к десяти часам утра. Он и полагал, что поспеет вовремя, если поедет из дому вечером накануне; так и сделал. Но когда он доехал до Асмюрского холма, лошадь вдруг стала. Место там нечистое, — давно-давно еще кто-то там повесился на пригорке, и многие слышали там музыку: и скрипку, и кларнеты, и флейты. Да вот Берта знает; сама однажды слышала, и говорит, что такой чудесной музыки никто и не слыхивал; точь-в-точь, как большой оркестр, что играл у ленсмана в 1814 г. Правда ведь, Берта?

— Истинная правда, как перед богом! — подтвердила старуха Берта, чесавшая лен.

— Так вот, лошадь у него стала, — продолжал кузнец, — и ни с места. Как он ни понукал, как ни стегал ее, она только вертится кругом, а ни вперед, ни назад не идет. Да так всю ночь, и ясно было видно, что кто-то стоит и держит лошадь; Пер как ни бился, поделать ничего не мог. Уж на заре только слез он с лошади и пошел в Асмур к Ингебретту, попросил его взять с собой головню да пойти с ним к лошади, сел на нее, а Ингебретт провел над ней головней, она и понеслась вскачь, только держись. Не переводя духу, домчалась до самого города, зато и надорвалась.

— Эту историю я слыхала, — сказала Берта и перестала чесать лен, — да верить не хотела, чтобы Пер Сонум был так прост. Но раз ты говоришь, стало быть, так.

— Еще бы! Если я слышал это от самого Ингебретта, который пугнул лошадей головней.

— Ему бы надо было поглядеть сквозь уздечку, Берта? Да? — спросил один из малышей.

— Да-да, — сказала Берта. — Тогда бы он увидел, кто держит лошадь, и *тому* пришлось бы отпустить. Я это слыховала от того, кто в этих делах лучше всех знал толк, от Ганса Храбреца, как его звали тут у нас, в Галланде. В других местах он слыл Гансом «По-хорошему»; у него поговорка такая была: «Все надо по-хорошему!». Его нечистая сила однажды заманила к себе и продержала несколько лет, хотела женить на одной из своих девок, которой он больно полюбился, да он не захотел. По нему звонили во многих церквях, вот им и пришлось наконец отпустить его. Они сбросили его с вершины горы; он уж думал, что докатится до самого фьорда. С тех пор он и стал дурачком. Ходил из двора во двор и все рассказывал разные диковинные истории, а иной раз вдруг ни с того ни с сего рассмеется и крикнет: «Вижу, вижу тебя, Кари-Карина!». Та все за ним следом ходила.

Он рассказывал, что нечистые всегда брали его с собой, когда выходили запастись пищей и молоком. Сами-то они не смели трогать того, что было поставлено с молитвой и с крестом, так они ему приказывали: «Берись-ка; тут „закорючки“ поставлены». И он так нагружал им сани, что страсть. А когда вдруг, бывало, грянет гром, они припускались без оглядки, и Ганс не мог поспеть за ними. Да был у них один, по имени Вотт, такой силач, что возьмет, бывало, и подхватит и сани, и Ганса. Раз встретили они в лощине на Галланде фогта из Рингерики. Вотт пошел да и придержал лошадь фогта. Тот ругается, хлещет ее, просто жаль было смотреть. А кучер-то слез да и поглядел сквозь уздечку, — Вотту и пришлось отпустить лошадь. Тогда пошла потеха; кучер едва уселся, как лошадь понеслась во весь дух, «А мы, — рассказывал Ганс, — так надрывались со смеху, что фогт обернулся посмотреть».

— Да, — вмешался один из крестьян, из пришлых, — это, я слышал, рассказывали про одного пастора из Лира. Ему надо было к одной старухе, ужасной безбожнице, которая умирала. Когда он въехал в лес, лошадь вдруг стала как вкопанная. Но он знал средство, ловкий был такой пастор. Живо соскочил с саней на лошадь и поглядел в уздечку. Что же вы думаете? Стоит уродливый такой старикашка и держит лошадь. Говорят, это сам черт был. «Пусти! Не быть ей твоей!» — говорит пастор. Он и пустил, да зато так хлестнул лошадь, что она помчалась во весь опор, только искры из-под копыт посыпались. Мальчишка-кучер еле удержался на запятках. На этот раз пастор явился с причастием вскачь.

— Нет, хоть убей, не пойму, что творится у нас с коровами! — уныло сказала коровница Мари, войдя в кухню с подойником молока. — Право, их как будто голодом морят, так мало они дают молока. Поглядите сами, матушка!

— Надо взять сена с полу в конюшне, Мари, — сказала хозяйка.



— Да, правда, — отозвалась Мари, — но как я только покажусь туда, работники все шипят на меня, точно гуси.

— Я тебе дам совет, Мари! — сказал один из мальчуганов с лукавой усмешкой. — Надо сделать кашу со сметаной и в четверг вечером поставить в конюшне на сеновал; тогда домовой поможет тебе натаскать сена в хлев, пока парни спят.



— Да кабы у нас только водился домовой, я бы так и сделала, — просто-душно ответила старая коровница, — да черта с два заведется у нас домовой, коли хозяин не верит ни во что такое. Нет, вот у капитана там, на мызе, где я служила, так был домовой.

— А ты почему знаешь, Мари? — спросила хозяйка. — Ты его видела, что ли?

— Видела? Еще бы! — ответила Мари. — Уж это-то верно.

— Расскажи, расскажи! — закричали ребятишки.

— Расскажу, пожалуй! — И коровница начала:

— Жила я тогда у этого капитана. Раз в субботу вечером наш работник и говорит мне: «Будь такая добрая, задай сегодня корму лошадям, я тебе за это отслужу». Ладно-ладно, — говорю. Я знала, что ему надо к подружке своей. Ну вот, вечером я и пошла в конюшню, задала двум лошадям корма, взяла еще охалку и подхожу к третьей, самого капитана лошади, а она всегда такая круглая, сытая ходила, шерсть на ней так и лоснилась; хоть смотрись в нее, как в зеркало. Подхожу это к стойлу, вдруг как шарахнется мне прямо мордой в руки....

— Кто, лошадь? — закричали ребятишки.



— Какая лошадь! Домовой! Я так испугалась, сено из рук выронила да опрометью вон из конюшни. А когда Пер вернулся, я ему и сказала: «Один раз я задала за тебя корму лошадям, а уж в другой и не проси! Да Карьке и дать не успела, и я рассказала ему обо всем. «Ну, Карька-то в обиде не будет, он сам за ней ухаживает!» — говорит Пер.

— Ну, а какой же он был, домовый-то? — спросил один из мальчуганов.

— А ты думаешь, я разглядела! — ответила коровница. — Там такая темень была, что я рук своих не видала. А только как он спрыгнул мне на руки, так я почуяла, что он весь косматый, а глаза у него что угли!

— Да это, верно, кошка была! — крикнул один из ребятишек.

— Кошка? — с глубочайшим презрением промолвила Мари. — Я ощупала у него каждый палец; у него их было только по четыре на каждой руке, и все косматые. Это был сам домовый, с места вот не сойти!

— Конечно, домовый, — вступился Кристен-кузнец. — У него ведь нет большого пальца, и косматый он с головы до пят. Здороваться за руку мне с ним не приходилось, но я так слышал от людей. А что он ходит за лошадьми лучше всякого конюха, так это мы все знаем. Многим от него большая польза



бывает. Да и не от него одного. Тут вот в Уленсакере, — снова начал он рассказывать, — был один человек, которому служили лесовики, как вот другим домовые. Раз ранней весной — еще снег не везде стоял — ехал он в город, поднялся к ручью Скелле, напоил лошадей, вдруг видит, через холм пробегает стадо полосатых коров, больших, толстых, — просто загляденье, а пастухи и пастушки едут в тележках, нагруженных разным домашним скарбом и запряженных славными, жирными лошадьми. Впереди всех шла рослая девка, которая держала в руках белый как снег подоюник.

«Куда это вы в такую пору?» — спрашивает он с удивлением.

«О, мы отправляемся на сэтэр, на участок Рёгли в Уленсакере; там славное пастбище».

Диковинно ему это показалось, что они отправляются на его участок. А еще диковиннее было то, что кроме него никто не видал и не слышал ничего такого; кого он ни спрашивал из встречающих, никто, оказывалось, не видал стада.

В доме у этого человека тоже творились часто диковинные дела; если он, бывало, займется какой работой после заката солнца, за ночь работу эту кто-то вконец испортит, так что он уж и перестал совсем работать после захода солнышка. Вот раз поздней осенью пошел он посмотреть, высох ли хлеб в снопах на поле. Пощупал, и показалось ему, что колосья еще сыроваты, надо еще оставить посохнуть; вдруг слышит, из скирды кто-то так явственно шепчет ему: «Вози скорее с поля, завтра снег выпадет». Он и давай скорей возить хлеб домой; до самой полночи возил, все убрал; наутро глядь — все поле под снегом.

— Да, не всегда-то нечистые такие добрые! — сказал один из мальчуганов. — Как, бишь, это было?.. Помнишь, лесовиха одна забралась на свадьбу в Эльстад и потеряла свою шапку?

— А! Сейчас расскажу! — подхватил кузнец, очень довольный случаем начать новый рассказ.

— В Эльстаде на хуторе играли раз свадьбу, а печки большой у них не было, и пришлось посылать жарить всякие кушанья в соседнее село. Вечером работник и повез все, что нажарили, на лошади домой. Едет он, вдруг слышит так явственно чей-то голос:

Коли едешь в Эльстад,  
Дельде Расскажи —  
Дильд в огонь упал!

Работник как ударит по лошади да помчится во весь дух, только в ушах засвистело, — погода-то была холодная и санный путь хороший. А тот же голос прокричал ему вслед это же самое еще раз пять, так что он запомнил все от слова до слова. Приехал он домой и прямо подошел к тому концу стола, к которому время от времени присаживались слуги, чтобы перехватить чего-нибудь, когда выпадала свободная минутка.



«Эй ты, парень! Сам черт, что ли, домчал тебя, или ты и не ездил еще за жареным?» — сказал ему один из домашних.

«Как же, ездил! Вот и жаркое несут! Но я мчался во всю прыть от страха. Мне вслед все кричали:

Коли едешь в Эльстад,  
Дельде расскажи —  
Дильд в огонь упал!»

«Ах! Это мой сынок!» — раздалось вдруг из комнаты, где сидели гости, и кто-то стремглав выбежал оттуда, размахивая кулаками и сбивая всех с ног. Тут шапка-то с нее и свалилась, все и увидели, что это лесовиха. Она забралась туда и таскала со столов мясо, сало, масло, пирожные, пиво и водку и всякую всячину, но тут так переполошилась за своего сынка, что позабыла в пивном чане свою серебряную кружку и не заметила, как обронила с головы шапку. Кружку и шапку хозяева подобрала и спрятали, а шапка-то была невидимка: если кто ее наденет, того ни один человек видеть не может, разве только ясно-видящий. Цела ли еще у них эта шапка, не знаю наверное, — сам я ее не видал и на себя не надевал.

— Да, эта нечисть страсть ловка воровать, это я всегда слыхала, — сказала Берта Туппенхауг. — А хуже всего от них приходится на сэтерах. Все это время у лесовиков да у троллей настоящий праздник: пастушки только и думают о своих женихах и забывают перекрестить на ночь подошники, крынки с молоком и со сливками и прочее, вот те и таскают, что им полюбится. Людям нечасто удастся увидеть их, но все-таки иногда случается, как вот раз было на Неберг-сэтере, здесь, в Альменнинге.

Было там в лесу на работе несколько дровосеков. Когда они собирались вечером отправиться ночевать на Небергский сэтер, из лесу вдруг раздался голос: «Скажите Килле, что с ее сынками беда случилась, — сварились в котле!»

Пришли дровосеки на сэтер и рассказали это девушкам. Только проговорили, что крикнул им голос из лесу: «Скажите Килле, что с ее сынками беда случилась, — сварились в котле», — как в молочной кто-то как крикнет: «Ах, это сынки мои!» — и оттуда стремглав выскочила лесовиха с подошником в руках, так что все молоко расплескала.

— Много чего люди болтают, — начал опять кузнец с несколько насмешливой миной, как будто и сам сомневался в достоверности этих рассказов; на самом же деле в нем говорила досада на то, что его перебили, как раз когда он разошелся. Ни у кого во всем округе не было такого неистощимого запаса всяких диковинных историй о нечисти, как у него, и ни у кого же такой непоколебимой веры во все это. — Много чего болтают люди, — сказал он, — не всему можно верить. А вот если что случится в твоём собственном семействе, так нельзя не верить. Расскажу вам, что было раз с моим тестем. А уж он был такой степенный, обстоятельный человек, что врать не стал бы. Жил он

в Скоперуде, звали его Иовом. Срубил он себе новую избу, было у него три коровы, славных таких, толстых, да лошадь, редкая лошадь. Он на ней делал концы из Му в Трегстад, а иной раз оттуда еще в Скримстад и обратно в Му. И он знать не знал с ней никаких хлопот, ни берег, ни холил ее, а она себе все такая гладкая да сытая. Был он тоже охотник и музыкант. У чужих он часто играл, а у себя ни за что; наберется, бывало, целая изба молодежи, нет, так и не упрелят его поиграть. Только раз и пришли к нему парни с водочкой да подпоили его; потом набралось еще молодежи, и как он ни отнекивался сначала, они таки заставили его играть. Поиграл он с часок и положил скрипку, — он знал, что те были неподалеку, а они ведь не любят такого шума; но парни опять пристали к нему, и так до трех раз. Наконец он повесил скрипку на стену и поклялся, что больше в этот вечер не возьмет в руки смычка, а потом и выгнал их всех вон, и парней, и девок. Когда уж он начал раздеваться и подошел к очагу, чтобы раскурить головешкой трубку, в избу вдруг ввалилась целая толпа и больших, и малых.

«Ну, опять явились?» — говорит Иов. Он подумал, что это вернулась молодежь, которая тут плясала. Нет, смотрит, не те. Взял его страх, стряхнул он с постелей на пол дочерей своих, — силач был, — и спрашивает их: «Это что за народ? Знаете вы их!».

А девушки спросонья ничего понять не могут, только глазами хлопают. Тогда он взял со стены ружье, повернулся к толпе да погрозил им кулаком: «Эй вы там, коли вы сейчас не уберетесь отсюда, я вам задам! Так вас турну, что вы кубарем вылетите!».

Те взвизгнули и скорее к дверям, друг через друга кувырком; точно какие-то серые клубки повыкатились из дверей. Иов повесил ружье и опять подошел к печке, чтобы раскурить трубку, глядь — на скамеечке у печки сидит старик с длинной-длинной бородой до пояса; старик тоже взял головешку и раскуривает себе трубку; а трубка вдруг возьмет да и погаснет; он опять раскурит, и так без конца. «А ты еще тут! — говорит Иов. — И ты из той шайки? Откуда ты?»

«Я живу тут неподалеку от тебя! — говорит старик. — И советую тебе не подымать больше у себя такого шума и гама, не то ты у меня скоро бедняком станешь».

«Да где же ты живешь?» — спрашивает Иов.

«Живу я под баней, и не будь нас там, она давно бы обвалилась, больно жарко ты топишь. Стоит мне двинуть пальцем, и она развалится. Так помни же это и берегись».

С тех пор у Иова никогда не было ни музыки, ни пляски; скрипку он продал и никогда больше не прикасался ни к какой другой.

Во время последнего рассказа помещик поднял у себя в комнате шум, отворяя и затворяя дверцы шкафов, гремя ключами и серебряной посудой. Видно было, что он прибирает на ночь под замок все свои драгоценности, начиная с серебряной кружки и кончая оловянной табакеркой. Когда кузнец замолк,

старик просунул в дверь голову в колпаке, сдвинутом на одно ухо, и сердито сказал:

— Опять за свои басни и враки!

— Враки! — обиженно отозвался кузнец. — Я никогда не вру. Все это правда. Я сам женат на одной из его дочерей. Жена моя Дорта собственными глазами видела с постели того старикашку. Правда, девки-то все были с придурью, но это оттого, что они повидали нечистую силу.

— С придурью? — сказал помещик. — Я думаю, с придурью! Да и ты таков же, если только не пьян, — тогда ты прямо бесноватый. Ступайте, ребята, пора идти спать; нечего тут сидеть да слушать его небылицы.

— Нет, уж насчет басен да небылиц это вы неладно сказали, батюшка! — важно продолжал кузнец. — Басен и небылиц мы не слыхали с тех пор, как вы изволили разглагольствовать на Небергской горке семнадцатого мая!<sup>1</sup>

— Вот срунда! — проворчал помещик и сердито прошел через кухню со свечой в одной руке и пачкой газет и бумаг в другой.

— Погодите, погодите, батюшка! — поддразнивая, сказал кузнец. — Позвольте ребятишкам еще побыть здесь, да и вы бы кстати послушали одну историйку. Не впрок вам все читать одни законы! Я расскажу вам про одного драгуна, который был женат на лесовихе. Это истинная правда, — я слыхал это от старухи Берты, а она сама родом из того места, где это было.

Помещик сердито хлопнул дверью и затопал по лестнице.

— Ну, коли старик не хочет слушать, вы послушайте! — сказал кузнец ребятишкам, на которых красноречие деда мало действовало, раз кузнец обещал им рассказать что-нибудь.

— Много лет тому назад в Галланде жили-были зажиточные старики, муж с женой, и у них был сын, рослый такой, красивый парень; он служил в драгунах. Было у них и свое пастбище в горах; только на их сэтере постройка была не как у других, а стояла настоящая изба с крышей, печкой и окнами. Летом они и жили там сами, а осенью возвращались в деревню.

Дровосеки и прочий люд, что толокся в эту пору в горах и в лесу, замечали, что на смену старикам перебирались на сэтер со своими стадами лесовики. Между ними была одна девушка такой красоты, что другой такой и не сыскать было.

Драгун наслышался о ней, и вот раз осенью, когда они переехали с сэтера домой, надел он полную форму, оседлал свою лошадь, взял пистолеты и кобуры и поехал на сэтер. Выехал он к реке, глядит, изба их на сэтере так и светится изнутри. Значит, те уже перебрались. Привязал он свою лошадь к сосне, взял пистолет, прокрался под окно и заглянул в избу. Глядит, там сидят старые, сгорбленные старик и старуха; таких уродов он сроду не видывал. Была там и девушка, такая красавица, что он сразу решил — не бывать ему в живых, коли не добудет ее. У всех болтались сзади коровьи хвосты, и у красавицы тоже. Видно было, что они только что перебрались сюда, прибрали все по

<sup>1</sup> День провозглашения независимости Норвегии (*примеч. переводчика*).



местам, и теперь девушка мыла старого урода, а старуха разводила на очаге огонь под большим котлом.

Драгун вдруг распахнул дверь, стал на пороге и выстрелил из пистолета прямо через голову девушки; она свалилась на пол и в ту же минуту сделалась такой же уродиной, какой была красавицей; нос у нее стал точно твоя кобура.

«Теперь бери ее, она твоя!» — сказал старик. Но драгун точно ошалел и ни с места. Старуха принялась умывать девушку, и та стала чуть получше; нос поубавился наполовину, коровий хвост ей подвязали, но красивой она не стала, нет, это грех сказать.

«Теперь она твоя, молодец. Сажай ее на седло к себе, вези в свой дом и ладь свадьбу. Для нас же накрой отдельный стол в чуланчике, мы не хотим быть с другими гостями! — сказал старик-отец девушки. — А когда будут пить за здоровье молодых, загляни к нам».

Делать нечего, посадил он ее на лошадь, привез домой и сыграли свадьбу. Но перед тем как идти в церковь невеста попросила одну из подружек стать позади нее, чтобы никто не увидал, как отпадет у нее хвост, когда священник благословит ее.

Когда стали пить за здоровье молодых, жених вошел в чуланчик, где было накрыто для лесовиков. Там никого и ничего не было, но когда все гости разъехались, в чуланчике оказалось много золота и серебра и всяких денег. Он такого богатства сроду не видывал.

Так и зажили они в довольстве. А всякий раз, как они созывали гостей, жена накрывала стол в чуланчике, и всегда потом там оказывалось много денег. Они уж не знали, куда и деваться с ними. Но жена как была некрасивой, так и осталась, и мужу порядком-таки прискучила. Бывало он и ругнет ее хорошенько и пригрозит побить.

Раз собрался он в город; дело было по осени и подморозило уже, так что надо было подковать лошадь. Пошел он в кузницу — он был сам ловкий кузнец — и стал прилаживать подковы. Да как ни скует — все неладно: то велика подкова, то мала. Бился-бился он — не идет дело, да и только, а время уходит, и полдень давно прошел.

«Что ж ты так и не сладишь с подковами? — спрашивает жена. — Неважный ты муж, а кузнец и того хуже. Остается мне самой пойти в кузницу да подковать лошадь. Коли подкова велика, можно убавить, коли мала, растянуть».

И пошла она в кузницу, взяла в руки подкову и сразу разогнула ее.

«Гляди, вот как надо делать! — говорит она мужу. Потом опять согнула подкову, точно та была оловянная. — Теперь держи ногу!» Муж подержал лошади ногу, и оказалось, что подкова пришлась как раз впору. Любой кузнец не сделал бы лучше.

«Вишь, какие у тебя пальцы-то крепкие!» — говорит ей муж.

«Крепкие? — говорит она. — А каково, ты думаешь, пришлось бы мне, если б у тебя были такие крепкие пальцы? Я же так тебя люблю, что никогда пальцем тебя не трону!»

С тех пор муж стал совсем иначе обходиться с женой.

— А теперь и будет с нас на этот раз! — сказала старуха хозяйка и встала.

— Да, пора по домам, старик-то сердится! — сказал кузнец и стал прощаться, обещая детям рассказать еще что-нибудь в следующий вечер и уговариваясь с ними насчет четверки табака.

После обеда, когда я зашел к нему в кузницу, он усердно жевал табак, — верный признак, что он угостился водочкой; вечером он отправился в город, чтобы выпить еще. Через несколько дней, когда я опять увидал его, он был угрюм и неразговорчив. Рассказывать он не хотел, хотя ребяташки и сулили ему табака и водки. Девушки болтали, что нечистые подхватили его и перекинули через горку. Какой-то проезжий нашел его там утром, и у него все еще язык заплетался.



### Тириганс<sup>1</sup>, который рассмешил принцессу

Жил-был король, у которого была дочь, да такая красавица, что молва о ней по всему свету прошла. Одна беда, такая она была суровая да спесивая, никогда не рассмеется, не улыбнется, и всем женихам отказ, сколько их ни сваталось за нее — и принцев, и баронов. Надоело это королю; думалось ему, что пора бы и ей выйти замуж, как всем другим. Чего ждать? И годы подошли, и приданого уж не прибавится, сколько ни жди, — полцарства и так шло за нею, материнское наследство.

Вот король и объявил по всему царству, что кто-де рассмешит принцессу, получит и ее и полцарства в приданое. Зато у того, кто пытался да не умел рассмешить, вырезывали из спины три ремня и посыпали раны солью. И разбогатело же королевство изрезанными спинами! Женихи стеклись отовсюду, и с севера, и с юга, и с востока, и с запада, думая, эка невидаль рассмешить принцессу. Все они были brave молодцы, и уж чего-чего ни выделывали: дурачатся, кривляются напропалую, а принцесса и бровью не поведет.

Недалеко от королевского двора жил один крестьянин с тремя сыновьями. Дошло и до них королевское оповещение.

Вот старший и решил первый попытать счастья, явился к королю и сказал, что хочет насмешить принцессу.

— Да-да, — сказал король, — но толку не выйдет, любезный! Многие уж пытались. Дочь моя такая грустная, что ее ничто не берет, и мне очень не хотелось бы, чтобы задаром попал в беду еще кто.

Но молодец полагал, что ему все-таки удастся. Что ему стоило рассмешить принцессу, коли над ним столько раз потешались и простые, и знатные люди, когда он служил в солдатах и учился выделывать всякие приемы?

Вот он вышел на площадку перед окнами принцессы и принялся выделывать разные приемы. Принцесса и бровью не сморгнула. Взяли его, вырезали у него из спины три ремня, а потом отправили восвояси.

---

<sup>1</sup> В переводе А. и П. Ганзен — «Иванушка-дурачок» (*примеч. ред.*).



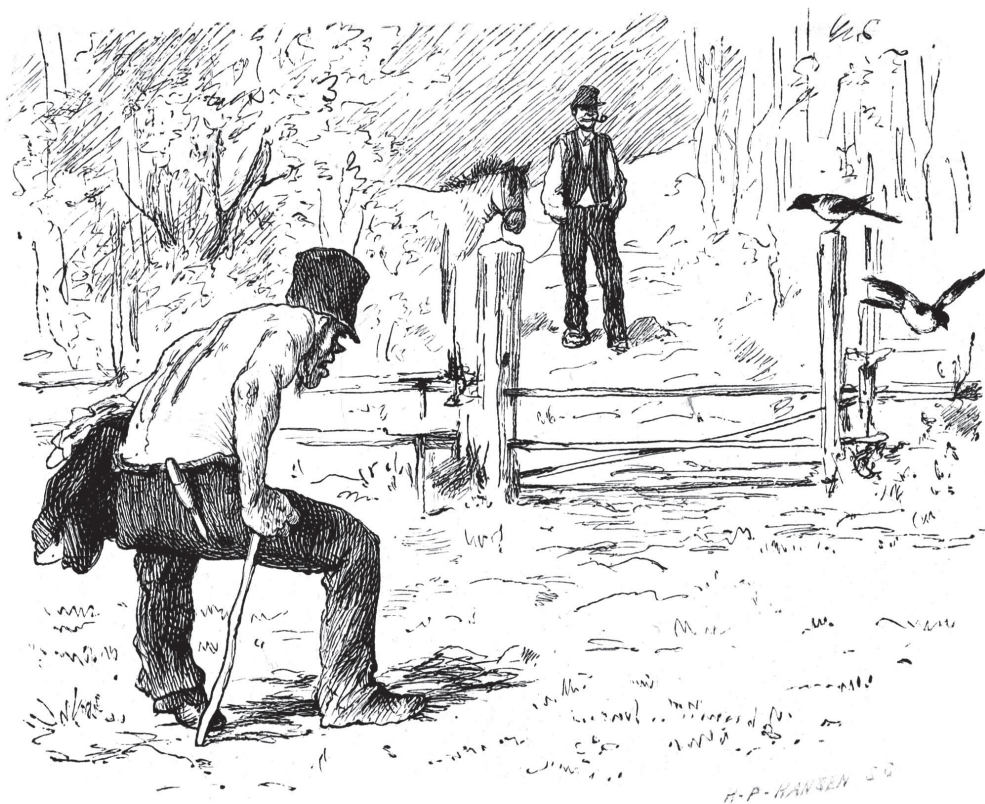
Вернулся он домой, и стал собираться другой брат. Этот был школьным учителем, да уж больно несуразен с виду: хромой, и не то чтобы немножко, а по-настоящему; как припадет на короткую ногу — чуть не карлик, а подпрыгнет на длинной — что твой тролль величиной.

Когда он явился к королю и сказал, что хочет насмешить принцессу, король подумал, что ему это, пожалуй, уж не так трудно.

— Но беда, коли тебе не удастся! Ремни-то мы вырезаем у новых женихов все шире и шире!

Школьный учитель заковылял во двор, стал перед окнами принцессы и принялся петь и читать то как пастор, то как пономарь, передразнил целых семерых пасторов и семерых пономарей, которые служили в городе. Король хохотал так, что должен был ухватиться за столб, и даже принцесса чуть-чуть не улыбнулась. Но все-таки не улыбнулась, и пришлось и Павлу, школьному учителю, не лучше, чем Перу-солдату, — одного-то звали Павел, а другого Пер. Вырезали у Павла три ремня из спины, посыпали рану солью и послали домой.

Тут и младший собрался. А звали его Тириганс. Братья смеялись над ним и страшили его, показывая ему свои спины, а отец не пускал его, говоря,



что у него и ума-то нет, так куда уж ему. Тириганс и правда ничего не умел, ничего не делал, сидел целый день у печки, как кот, копался в золе да строгал лучинки. Но Тириганс все свое да свое, и так надоел всем, что его таки отпустили попытать счастья.

Пришел он на королевский двор и не стал говорить, что пришел смешить принцессу, а попросился на службу. Король сказал, что у них нет для него никакой службы, но от Тириганса не так-то легко было отделаться. Уж, верно, им в таком большом хозяйстве не лишнее держать человека, который бы таскал на кухню дрова да воду. Да, оно, конечно, не лишнее. И король сдался-таки на приставанья Тириганса и позволил ему остаться во дворе, таскать воду и дрова на кухню.

Пошел он раз к ручью брать воду, глядит — под корневищем сосны, с которого вода смыла землю, застряла большая рыба. Он и поймал ее ведром. По дороге домой встретил он старуху с золотым гусем.

— Здравствуй, бабушка! — сказал Тириганс. — Вот так гусек! Что за перышки! Как жар горят! То-то бы заполучить такого, перестал бы лучинки строгать.

Старухе понравилась рыба, которую Иван нес в ведре, и она предложила ему за нее своего гуся. А гусь-то был не простой: кто его трогал, тот и прилипал к нему, стоило хозяину сказать: «Коли с нами, так прилипни!».

Тириганс радешенек был такой мене. «Гусь не хуже рыбы!» — подумал он. — А коли он взаправду таков, как ты говоришь, я на него поймаю другую рыбку! — сказал он старухе и пошел своей дорогой.

Вскоре попалась ему другая старуха. Увидала она золотого гуся, так и загорелось ей погладить его. Вот она и давай ластиться к Ивану, умильно просить его, позволить ей погладить гуська.

— Изволь; только не выдерни, смотри, перышка.

Только она дотронулась до гуся, Тириганс и сказал:

— Коли с нами, так прилипни!

Старуха и прилипла; как она ни рвалась, ни билась, ничего не могла поделать. А Тириганс как ни в чем не бывало, пошел себе с гусем дальше. Прошли немного, встретился им мужик, который был зол на старуху за то, что та раз сыграла с ним штуку. Увидал он, как она бьется понапрасну, чтобы вырваться, понял, что у нее теперь руки связаны, и захотел отплатить ей, взял да и дал ей пинка ногой.

— Коли с нами, так прилипни! — сказал Иван, старик так и прилип ногой к старухе. Как он ни упирался, ни рвался, пришлось скакать за ней на одной ноге, а упирался, так еще хуже было: того гляди наземь грохнулся бы.

До королевского двора оставалось пройти еще добрый конец. По дороге попался им королевский кузнец; он шел в кузницу и в руках держал большие щипцы. Кузнец был веселый малый, большой проказник, вечно готовый выкинуть какую-нибудь штуку. Увидал он гуся с хромающей и ковыляющей свитой и давай хохотать. Хохотал до упаду, а потом и говорит:



— Вот так новое стадо гусей у принцессы будет! И кто разберет, который тут гусак, которая гусыня? Гусак- то, должно быть, впереди! Тега-тега-тега! — и он стал манить рукой и делать вид, что сыплет зерна на дорогу.

Но те и не думали останавливаться, старуха и старик только злобно поглядывали на кузнеца, который потешался над ними. Тогда кузнец — он был большой силач — сказал:

— Вот забавно будет остановить всю эту гусиную компанию! — схватился щипцами за штаны старика сзади и давай тянуть к себе. Старик еще пуще обозлился и принялся вопить, а Тириганс только проговорил:

— Коли с нами, так прилипни!

Пришлось и кузнецу шагать за ними. Он изогнулся в три погибели, уперся ногами в землю, бился изо всех сил, чтобы оторваться — не тут-то было, его точно клещами держало, и волей-неволей заплясал и он в гусиной свите.

Когда они подошли к королевскому двору, дворовый пес залаял на них, точно на волка или на цыгана. Принцесса выглянула в окно, увидала ватагу и рассмеялась. А Тиригансу еще того мало:

— Погоди немного, еще не так рассмеешься! — и завернул со своей свитой во двор.

Когда они проходили мимо кухни, кухонная дверь была открыта, а кухарка там мешала кашу. Увидала она Тириганса и всю эту толпу, выскочила из дверей





с мешалкой в одной руке и ложкой, полной горячей каши, в другой, взялась за бока и ну хохотать. А как увидала, что и кузнец тут же попался, хлопнула себя по бедрам и еще пуще залилась. Нахохотавшись, и она, однако, загляделась на чудесного гуся и захотела погладить его.

— Тириганс, Тириганс! — закричала она и побежала за ним, как была, с мешалкой и ложкой в руках. — Можно мне погладить этого красавчика-гуся?

— Пусть она лучше меня погладит! — сказал кузнец.

— Пусть! — сказал Тириганс.

А кухарка услышала и рассердилась на кузнеца.

— Ты что такое болтаешь? — крикнула она и ударила его ложкой с кашей по плечу.

— Коли с нами, так прилипни! — сказал Тириганс, и кухарка тоже прилипла крепко-накрепко. Как она ни рвалась, ни бесновалась, ничто не помогало. Когда они пришли на площадку под окна принцессы, та уже стояла на балконе и ждала их. А как увидала еще кухарку с мешалкой и ложкой в каше, залилась так, что королю пришлось поддерживать ее, чтобы она не упала от смеха.

Так Тиригансу и досталась принцесса, а с ней полцарства. Свадьбу сыграли и задали пир на весь мир.



H. P. HANSEN SC

### Летняя ночь в Кругском лесу

Четырнадцатилетним мальчиком пришел я раз в субботу вечером, вскоре после Иванова дня, в Овре-Люс, последний двор в долине Сэрке. Я часто ездил и ходил по проезжей дороге между Христианией и Рингерике, теперь же я, возвращаясь из короткой побывки дома, ради разнообразия решил пойти мимо Богстада на Люс, чтобы оттуда пройти кратчайшим путем через Кругский лес в Керраден.

Все двери стояли настежь, но ни в горнице, ни в кухне, ни в овине я не нашел ни души, от кого бы мог добиться глотка питья и указаний насчет дороги. В доме не оказалось никого, кроме черного кота, который благодушно мурлыкал на шестке, да белого как снег петуха, который важно выпячивал грудь, разгуливал по крылечку и то и дело орал во все горло, точно желая сказать: «Теперь я тут набо́льший!»<sup>1</sup>. Вокруг дома вились и щебетали ласточки, которых привлекало соседство леса, изобиловавшего насекомыми, и которые свили себе под крышей дома и овина множество гнезд.

<sup>1</sup> Т. е. главный (*примеч. ред.*).

Усталый от жары и долгой ходьбы, я бросился на завалинку отдохнуть, растянулся и задремал. Вдруг меня заставил встрепетаться пренеприятный концерт: визгливый женский голос то бранил, то ласкал и успокаивал хрюкающих поросят. Я пошел на эти голоса и нашел на заднем дворе загорелую босоногую бабу, которая, согнувшись пополам, наливала в корыто корм поросятам, и те, теснясь у корыта, визжали и хрюкали от ожидания и радости.

На мой вопрос о том, как пройти в Керраден, баба ответила другим вопросом, и, не выпрямляясь, только слегка отвернула голову от своих любимцев, чтобы поглазеть на меня.

— Откуда ты?

Получив удовлетворительный ответ на свой вопрос, она продолжала, пересыпая речь обращениями к поросятам:

— Да, так учишься у пастора в Рингерике... Кыш вы, поросятки!.. Как попасть в долину Стуб, говоришь?.. Да тише ты, дай же и другим поест, ах ты гадкий какой! Кыш!.. Смирно!.. Ах, бедняжка! Я тебя ушибла?.. Надо прямехонько идти через лес; к самому Керрадену и выйдешь!

Так как такое указание показалось мне слишком неопределенным, — лес тянулся на две мили, — то я спросил, не найдется ли тут паренька, знающего дорогу, который бы за плату проводил меня через лес.

— Что ты, что ты! — сказала она, бросив поросят и идя по двору. — Теперь все на сенокосе, и поесть-то некогда! Да и дорога-то прямая по всему лесу. Я сейчас так расскажу тебе, что точно своими глазами все увидишь. Сперва минуешь все холмы, а когда подымешься наверх, увидишь большую дорогу прямо по кряжу. Река у тебя все время будет по левую руку, и коли не увидишь, так услышишь ее. Недалеко от кряжа будет тебе маленький заворот, и дорога словно пропадет. Кто не знает, так тому тут трудно выпутаться. А ты поищи дорогу, — она у самой воды. Как выйдешь туда, ступай себе по берегу, пока не дойдешь до запруды. Там будет тебе вроде мостика, перейдешь на левую сторону, а потом повернешь направо, и там уж прямехонькая дорога вплоть до самой долины Стуб.

Хотя и это толкованье было не совсем удовлетворительно, особенно ввиду того, что я в первый раз так далеко уклонялся в сторону от большой дороги, я спокойно пустился в путь, и скоро все сомненья исчезли. С вершины холма открылся между елями и высокими соснами вид на долину, по которой между купами лиственных деревьев и лужайками извивалась, точно серебряная лента, река. На холмах красиво раскинулись домики с красными крышами, а в низинах копошились на сенокосе парни и девушки. Из труб кое-где курился тоненькой струйкой дымок, синевя на темном фоне одетых соснами скатов. От всей окрестности веяло такой деревенской тишиной и таким миром, что с трудом верилось в близость столицы. Когда я поднялся на кряж, до меня донеслись звуки охотничьих рогов и лай собак, повторяемые эхом; потом звуки стали удаляться, слабеть, сливаясь в один глухой гул. Вот я услышал где-то вдалеке налево шум волн. Но по мере того как я подвигался вперед, дорожка



все приближалась к реке; скалы местами так сдвигались, что я оказывался на дне глубокого мрачного оврага, наполовину занятого рекой. Потом дорога опять отклонилась от реки, делала завороты, виляла туда и сюда и порой была едва видна. Когда я поднялся на небольшую возвышенность, я увидел между стволами сосен два блестящих лесных озера, и около одного из них, на зеленом пригорке, эстер, позолоченный вечерним солнцем. В тени холма пышно раскинулись кусты папоротника; между корнями горделиво задирали головы кусты эпилобиума с пышными красными цветами. Серьезная беладонна подымала голову еще выше, мрачно поглядывала на них и качала головой в такт кукованью кукушки, точно желая знать, сколько дней ей еще остается цвести. На зеленом скате холма и внизу у воды красовались бузина и рябина в полном цвету. Они струили живительный аромат и грустно отряхали свои белые лепестки на отражение холма и эстера в воде, окаймленной с других сторон соснами и поросшими мхом скалами.

На эстере никого не было. Все двери стояли на замке. Я стучал во все, но нигде не добился отклика, тогда я уселся на камень и стал поджидать. Никто не являлся. Наступил вечер. Ждать больше нельзя было, и я пошел дальше. В лесу было еще темнее, но скоро я вышел к запруде или плотине между двумя озерами. Я догадался, что тут-то мне и следовало «перейти на левую сторону, и потом взять направо». Я перешел на ту сторону, но там, как мне показалось, были только плоские, гладкие серые скалы и никаких признаков дороги. По правую же сторону запруды шла глубоко протоптанная тропа. Я исследовал обе стороны и, хотя наперекор указанию, счел за лучшее пуститься вправо по тропе, которая шла по правому берегу реки, связывавшей между собой ряд озер. Пока тропа шла по берегу озера, все было хорошо, но вдруг тропинка свернула в сторону, по моим соображениям, совершенно противоположную тому направлению, которого мне следовало держаться, и дальше терялась в целой сети перекрестных тропинок, протоптанных скотом и уходивших в глубину леса. Измученный этим блужданием и напряженным поиском дороги, я кинулся на мягкий мох, чтобы передохнуть минуту. Усталость взяла верх над жутким чувством, охватившим меня в лесу, и я задремал. Вдруг раздался пронзительный крик, и я вскочил, но голос красношейки скоро успокоил меня. Мне казалось, что я еще не совсем одинок, пока слышу пение этой веселой птички. Небо хмурилось, на лес ложились глубокие тени. Брызнул легкий дождичек, ожививший растительность и напоивший воздух особым пряным ароматом. Лес зажил ночной жизнью, стал перекликаться разными голосами. В верхушках деревьев надо мной раздавалось что-то вроде глухого кваканья и резкое насвистыванье. Вокруг как будто жужжали сотни прялок. Но хуже всего было то, что одну минуту все эти звуки раздавались как будто над самым моим ухом, а в следующую слышались уже где-то далеко-далеко. Сквозь них часто прорывались то резкий хищный крик, сопровождаемый хлопаньем крыльев, то жалобный крик о помощи, за которыми вдруг наступала могильная тишина. Меня охватил страх; все эти звуки обдавали меня холодом, и страх мой все

увеличивался по мере того, как сгущались сумерки, искажавшие все предметы вокруг; деревья и кусты как будто оживали, шевелились, протягивали тысячи рук вслед заблудившемуся путнику.

В моей разгоряченной фантазии вставали образы из сказок, слышанных в детстве, лес наполнялся троллями, эльфами и шалунами-карликами. Не думая, не рассуждая, в припадке страха я кинулся бежать от этих демонских полчищ, но тогда стало еще страшнее, — они как будто цеплялись за меня руками. Вдруг послышались тяжелые шаги и хруст валежника, и я увидел, или, вернее, угадал во мраке приближавшуюся темную, массивную фигуру с горящими как угли глазами. Волоса у меня встали дыбом, и при виде неизбежной опасности я бессознательно крикнул, чтобы ободрить себя:

— Если человек, скажи, как пройти к долине Стуб!

В ответ послышалось глухое рычание, и темная масса, хрустя валежником и сокрушая ветви, двинулась обратно туда же, откуда явилась. Я долго стоял, как вкопанный, прислушиваясь к тяжелым шагам и бормоча про себя: было бы светло, да будь у меня ружье, я бы тебе задал, мишка, за то, что напугал меня.

Это пожелание и ребяческая угроза прогнали мой страх, и я уже спокойно зашагал по мягкому мху. Тут не было и следа дороги или тропинки, но впереди виднелся просвет, и скоро я очутился на скате, на берегу большого озера, окаймленного хвойным лесом, который по ту сторону озера исчезал в дымке ночного тумана. Открывшийся мне тут северо-западный край неба, пылавший вечерней зарей, которая отражалась в темных волнах озера, показал мне, что я забрал к северо-востоку вместо того, чтобы идти на запад.

Над озером кружили летучие мыши, проносились с быстротой стрелы большие хищные птицы, издавая какие-то квакающие звуки и резкий свист, так напугавшие меня несколько минут тому назад. Пока я стоял тут, размышляя, оставаться ли мне на этом месте до восхода солнца или попытаться выбраться назад к запруде, я вдруг открыл к несказанной своей радости по эту сторону озера слабо мерцавший между стволами деревьев огонек. Я быстро зашагал туда, но скоро убедился, что огонек находится куда дальше, чем это показалось мне в первую минуту. Пройдя с полверсты, я увидел, что меня отделяет от огонька глубокая лощина.

Выбравшись из наполнявшего ее хаоса валежника и бурелома и поднявшись вверх по крутому косогору, я еще прошел добрый конец по редкому сосновому бору, где деревья стояли правильными рядами, словно колонны; шаги мои гулко отдавались в воздухе. По опушке бора протекал ручеек, возле которого ютились ольхи и ели. По ту сторону ручья, на зеленом пригорке виднелось пламя большого костра, бросавшего красноватый отблеск на ближайшие стволы. Перед огнем виднелась темная фигура, показавшаяся мне благодаря своему положению между мной и пылающим костром необычайно громадной. В голову мне пришли рассказы о разбойниках Кругского леса,

и одну минуту я готов был удариться в бегство. Потом я разглядел близ костра шалаш, еще двух парней и множество топоров, воткнутых в пень возле срубленной сосны, и понял, что это просто дровосеки.

Старик у костра что-то говорил; я видел, как у его черной тени шевелились губы; трубку он держал в руках и лишь изредка затягивался из нее, попыхивая огоньком.

Когда я подходил, он или закончил свой рассказ или прервал его и рылся в горячей золе своей погасающей трубкой, продолжая посасывать ее и прислушиваясь к словам четвертого подошедшего к костру человека. Последний, видно, тоже был из их компании, потому что пришел без шапки и в одной куртке; в руках он нес ведро с водой. Это был рослый рыжий парень с какой-то глуповато-испуганной физиономией. Когда я, перейдя через ручей, подошел к костру, старик, повернувшийся в мою сторону, был ярко освещен пламенем костра, так что я мог хорошо разглядеть его. Он был мал ростом, с длинным крючковатым носом; синий с красной оторочкой колпак его еле держался на щетинистой копне седых волос, коротенькая рингеригская куртка из темно-серого домашнего сукна с потертыми бархатными кантами еще резко выделяла круглую, сторбленную спину.

Парень с ведром, должно быть, говорил о медведе.

— Еще что! — сказал старик. — Что ему тут делать? Верно, что-нибудь другое там шумело. Не растет тут ничего, чего бы ему шляться тут по бору, мишке-то! А вернее всего просто ты врешь, Пер! Старая поговорка говорит: «Рыжий волос, что сосновый лес, на доброй земле не вырастет». Будь это еще у медвежьей берлоги или в долине Стюг! Там мы с Кнудом видали и слышали медведя недавно, а тут? Нет, так близко к огню они не подбираются! Ты сам себя напугал!

— С места не сойти, коли я не слыхал, как он хрустел и шагал, почтенный Тир Лерберг, — возразил парень, недовольный недоверием и поддразниванием старика.

— Да-да-да! — продолжал Тор тем же тоном. — Это был, верно, «кустарниковый медведь»<sup>1</sup>, паренек!

Тут я выступил вперед и сказал, что это, пожалуй, меня парень принял за медведя; рассказал, как я сбился с дороги, как напугался, спросил, куда я попал и не проводит ли меня один из них в долину Стуб, да, кстати, горько пожаловался на голод и усталость.

Появление мое немало удивило дровосеков, но удивление их не столько сказалось в словах, сколько в том внимании, с которым они рассматривали меня и слушали мой рассказ. Особенно живо интересовался, видно, тот, которого называли Тором Лербергом, и так как он, по-видимому, имел привычку думать вслух, то некоторые вырывавшиеся у него замечания посвятили меня в ход его соображений.

<sup>1</sup> Шуточное прозвище белки (примеч. переводчика).



— Да, не туда, не туда; надо бы перейти у пруда... там и дорога в долину Стуб... Попал на заблуд-траву<sup>1</sup>... Больно молод еще... леса не знает... Да-да, кто непривычен, тому это все в диковину... Да-да, кайра прескверно кричит... когда моросит дождь... Медведь, медведь! На медведя наткнулся... молодец парнишка!..

— Да-да! — задорно сказал я и излил свою юношескую отвагу приблизительно в тех же словах, как мужик, нашедший на пригорке спящего медведя: — Кабы светло было, да я был охотником и шел бы с заряженным ружьем, да выстрелил бы, так медведь с места бы не сошел!

— Очень просто, хи-хи-хи! — захихикал Тор Лерберг, и другие тоже рассмеялись. — Хи-хи-хи! Очень просто! С места бы не сошел!..

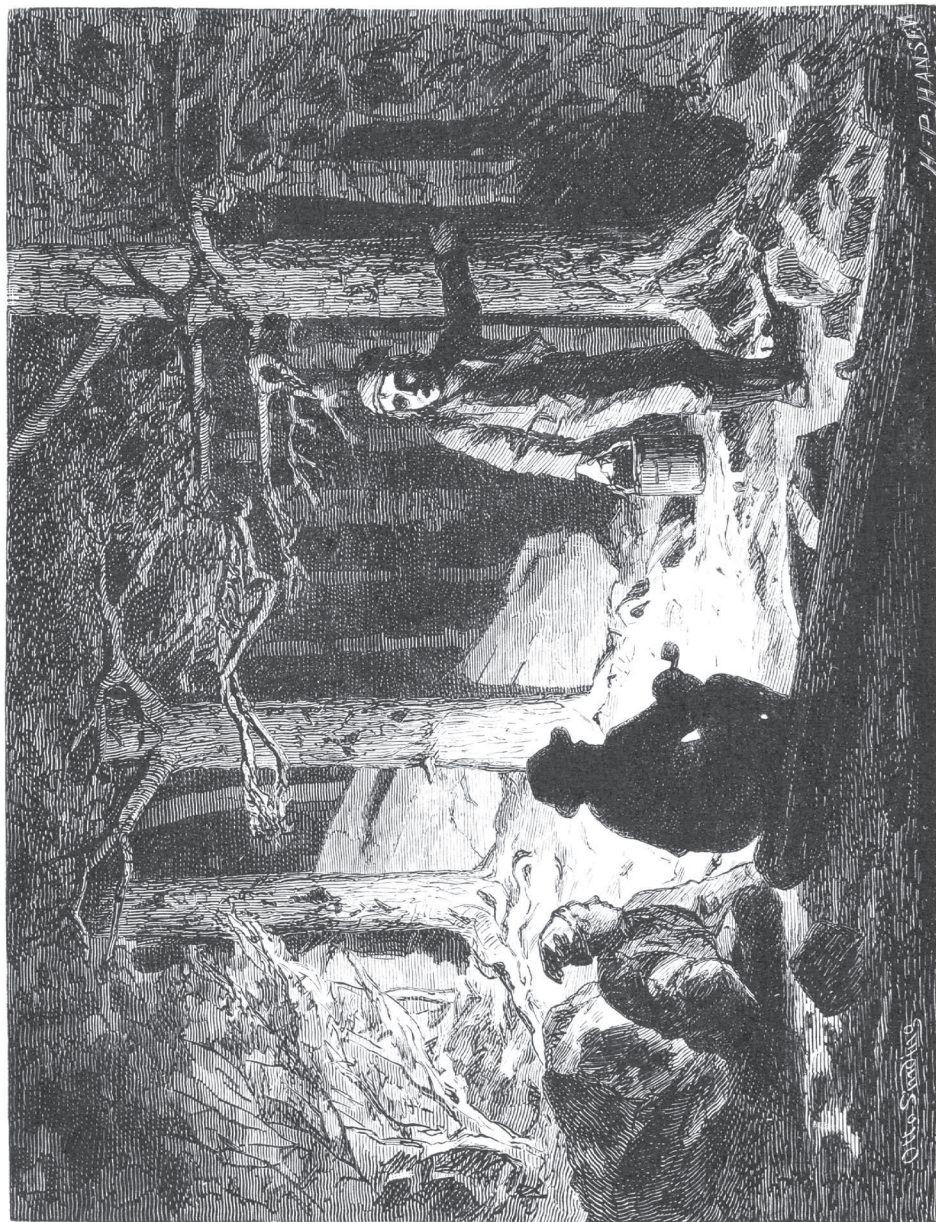
— А попал ты к большому озеру! — продолжал он, обращаясь ко мне. — Это самое большое озеро тут в лесу, и вот как рассветает, можно будет тебе и выбраться отсюда; у нас есть лодка. Переедешь на ту сторону, и до Стубской долины уже рукой подать. А теперь, верно, отдохнуть да поесть хочется? Только кроме лепешек да сала у меня ничего нет, а ты, верно, к такому угощению не привычен, ну да коли голоден, то... Или, может, рыбы хочешь? Я тут поймал славную форель в озере!

Я поблагодарил за предложение, и старик велел одному из парней принести «лакомую рыбу» и испечь ее на углях.

Пока рыба пеклась, старик все расспрашивал меня; когда же я с жадностью принялся за еду, он, видно, покончив перед моим приходом свой рассказ, предложил одному из парней рассказать о том, что случилось с его отцом, когда он рубил лес.

— Да, — отозвался дюжий, коренастый, смелый на вид парень лет двадцати с небольшим, — это рассказать недолго. Отец раз нанялся рубить лес там, в Аскмаркене. Ночевать он ходил в ближний двор, к Гельге Миру... Ты его знаешь, Тор Лерберг. Но раз как-то он заспался после обеда чуть не до вечера, — так его что-то сморило, — и когда он проснулся, солнце уже село за горой, а сажень-то еще не была готова. Он и давай скорее рубить. С час этак рубил хорошо, только щепки кругом летели. А меж тем темнело да темнело. Оставалось еще срубить одну небольшую ель. Только взялся он рубить по ней, как топор-то и сорвись с топорщища. Искал-искал его отец, насилиу нашел в ямке, в болоте. И вдруг ему показалось, что кто-то окликнул его. Он понять не мог, кто бы это такой; Гельге Миру нечего было тут делать, а других дворов поблизости и не было. Стал он прислушиваться, все тихо; нет, видно, послышалось! Опять стал он рубить, только топор-то в другой раз сорвался. Искал-искал, нашел-таки и только хотел начать подрубить ель с другой стороны, как явственно услышал голос из-за горы: «Гальвор! Гальвор! Рано приходишь, поздно уходишь!». «Тут, — рассказывал отец, — у меня ноги точно

<sup>1</sup> По народному поверью, есть такие травы, на которые если ступишь, непременно заблудишься (*примеч. переводчика*).



...он или закончил свой рассказ или прервал его и рылся в горячей золе своей погасяющей трубкой...

подкосились, и я насили топор вытащил из дерева. Да как припустился бежать, так одним духом домчался до двора Гельге».

— Да, это-то я слышал, — отозвался Тор Лерберг, — это я тебя про другое спрашивал. Насчет того, что раз было с твоим отцом весной; помнишь, как он в поезжане попал?

— Ах, тогда вот что было, — тотчас начал парень снова. — Было это весной, в 1815 г., вскоре после Пасхи. Отец жил тогда на Оппен-Эйе. Снег еще не совсем сошел, но отцу понадобилось нарубить дров для дому. Пошел он на гору в Геллинге, что около дороги в долину О, нашел там засохшую сосну и стал ее рубить.

Вдруг и стало ему чудиться, что куда ни взгляни, все сухие сосны торчат. Выпучил он глаза, стоит, дивуется; только вдруг откуда ни возьмись целый поезд, — семь лошадей мышиной масти; словно будто бы свадебный поезд.

«Что это за народ едет такой дорогой через хребет?» — говорит отец.

«Мы из Остгалла, из Ульснабена, — говорит один из поезжан, — а едем в Вейен на новоселье. Тот, что едет впереди — пастор; за ним едут жених с невестой, а я отец невесты. Становись сзади на полозья и поедем».

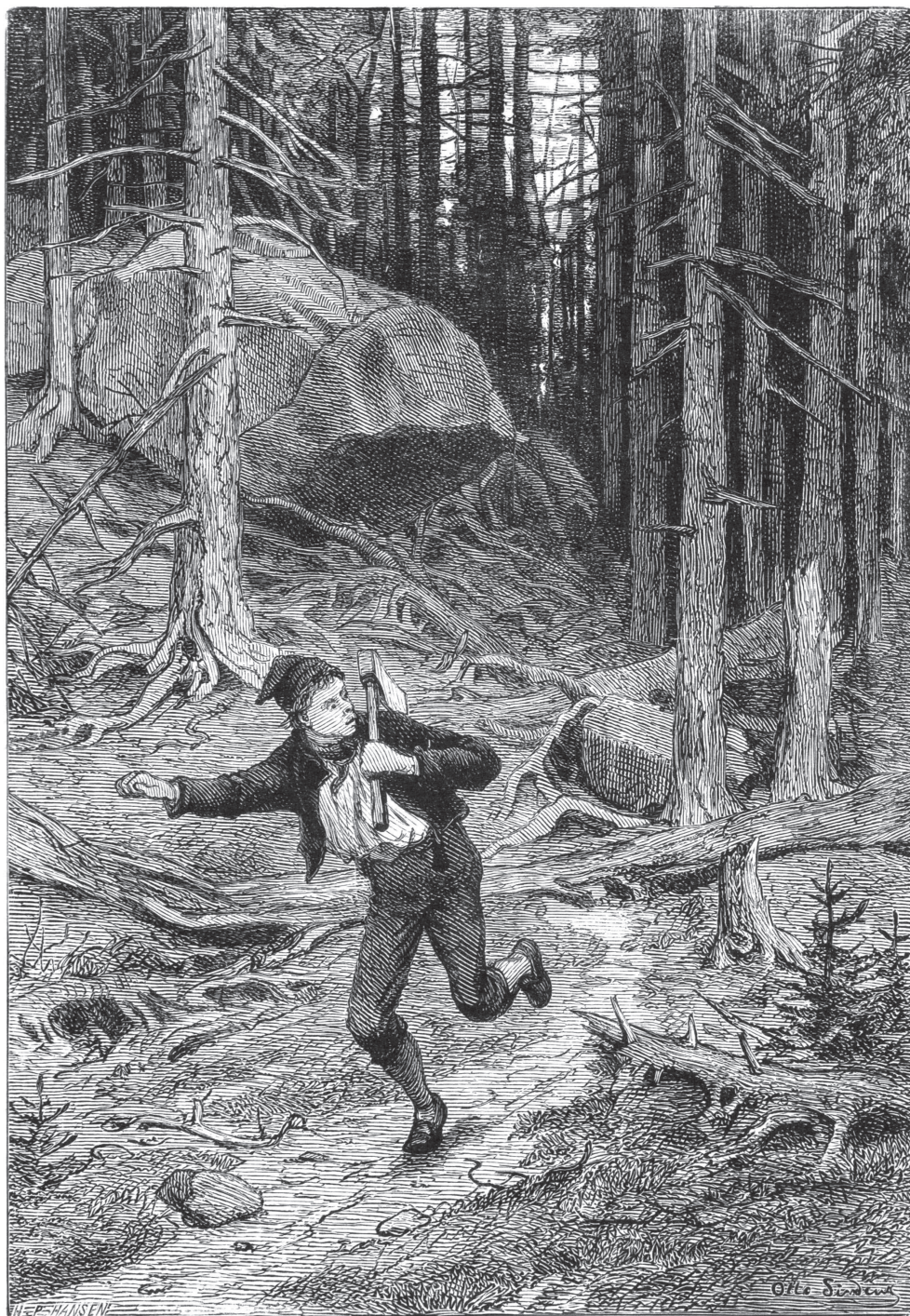
Проехали немного, отец невесты и говорит моему отцу: «Возьми, пожалуйста, эти два мешка, а как приедем в Вейен, набей их картофелем, чтобы мы могли их взять с собой, когда поедем назад». «Можно» — говорит отец. Вот и приехали они на место, которое отцу показалось знакомым. Это было к северу от Килебакена, и стоял тут прежде старый летний хлев для скота. Теперь хлева не было, а стоял большой красивый двор, куда они и въехали. В дверях их встретили вышедшие из дому люди, которые стали подносить приехавшим вино. Поднесли и отцу моему, но он отказался. «На мне, — говорит, — платье рабочее, куда мне лезть в такую компанию». Тогда один из них и сказал: «Оставь старика в покое. Возьми лошадь и поезжай с ним обратно». Так и сделали. Посадили его в сани, запряженные такой же мышиной масти лошадей, и один сел за кучера. Проехали они небольшой конец до оврага к северу от Оппенгагена, — там еще песок берут, — и стало чудиться отцу, что он сидит между ушками ушата. Через некоторое время и ушата уж не стало, и тогда только отец опомнился. Топор его торчал в той же сухой сосне, которую он начал рубить. Вернулся он домой совсем как ошалелый и думал, что несколько дней пробыл в лесу, а на самом-то деле пробыл только с утра до вечера. И долго он не мог хорошенько прийти в себя.

— Да, в лесу много чего бывает неладного! — опять заговорил Тор Лерберг. — И мне случалось кое-что видать... из нечисти то есть... Коли спать неохота, расскажу вам, что раз со мной приключилось... тут, в Кругском лесу.

Конечно, все были не прочь послушать старика; на другой день приходилось воскресенье, так не беда было и посидеть.

— Лет тому, пожалуй, десять-двенадцать жег я угли тут в лесу у Кампенхауга, — начал старик свой рассказ. — Зимой я жил там в шалаше; было у меня две лошади, и я возил уголь на Верумский завод. Раз и замешкался я на заводе, —





*«Да как припустился бежать, так одним духом домчался до двора Гельге».*



встретил земляков из Рингерики. Поболтали, выпили вместе... водочки то есть... и назад в шалаш попал я уж часов этак в десять вечера. Развел я из углей костер около угольной кучи, а то темно было нагружать; нагружать же надо было с вечера, потому что в три часа утра уже выезжать следовало, если в тот же день засветло обернуться назад. Ну, развел я огонек и стал нагружать уголь. Только повернулся к огню да занес лопату, как вдруг — с места вот не сойти — налетели, откуда ни возьмись, снежные хлопья и загасили мой огонек. Я сейчас же подумал: «А ведь это горная старуха сердится, что я вернулся так поздно и беспокою ее ночью». Однако раздул я уголья снова и стал нагружать. Тут точно с лопатой что приключилось, — не сыплется с нее уголь в корзины да и только, все мимо. Наконец я кое-как нагррузил и стал вязать возы веревками. Утром в тот день я вставил в узлы новые палки, стал закручивать их, а они так вот и ломаются у меня в руках, ей-богу! Я наломал из ивы новых палок, снова приладил все и насилу-то, насилу справился. Потом задал лошадям корму на ночь, заполз в свой шалаш и уснул. Но вы думаете, проснулся я в три часа? Как же! Солнце уж стояло высоко, когда я продрал глаза, да и то голова была тяжелая-претяжелая. Ну, надо было самому закусить маленько да и лошадей покормить. Пошел, глядь, оба стойла в сарае пусты, нет моих лошадок. Рассердился я, выругался и пошел отыскивать следы, — за ночь-то снежок выпал. Смотрю, следы ведут ни в село, ни на завод, а к северу, и еще гляжу, за лошадьми-то шагал кто-то на широких коротких лапах. Прошел я с полмили до самой пустоши, тут следы разделились: одна лошадь отправилась на восток, другая на запад, а следы лап и совсем пропали. Пришлось шагать по снегу сначала за одной; она оказалась чуть не на целую милю оттуда, — стоит и ржет. Привел ее назад, привязал к шалашу и пошел за другой, ну и проходил далеко за полдень, так в тот день и не пришлось гнать лошадей на завод. Зато уж я дал зарок никогда не тревожить «старуху» по ночам.

Только «одно обещать, а другое сдержать». Через год, по осени, в самую распутицу был я в Христиании. Выбрался я из города уже поздненько, после обеда, а хотелось мне добраться домой до ночи, я и направился на Бокстад, по долине Сэрке и через лес, — тут ведь самый ближайший путь, вы знаете. Погода была прескверная, и смеркалось уже. Переехал я маленький мостик, сейчас за Рябиновым скатом, и вижу вдруг, прямо навстречу мне идет человек, невысокий, но страсть толстый, и косая сажень в плечах, а кулачищи по пол-аршина в поперечнике. В одной руке у него кожаный мешок; идет себе не спеша, вперевалячку. Только подъезжаю я, это, ближе, глядь, глазищи-то у него словно угли горят, а волоса и борода чисто как щетина торчат, — настоящее страшилище. Давай я про себя молитву творить. И только сказал: «Господи Иисусе, аминь», — он и пропал, словно сквозь землю провалился.

Еду я дальше и бормочу псалом, вдруг откуда ни возьмись он опять тут как тут. И глаза, и волосы, и борода так искры и сыплют. Я скорее «Отче наш» читать. Только дошел до «избави нас от лукавого», как тот опять пропал. Не проехал и четверти мили; гляжу, он сидит на мостике. Сидит, из глаз,

из волос, из бороды молнии блещут, а сам он мешком своим трясет и оттуда синие, красные, желтые языки скачут, и треск слышится. Тут уж меня зло взяло. «Ах, да убирайся ты в преисподнюю, в свое болото, проклятый тролль!» — говорю ему, он и пропал. Но я таки сам струхнул после. Думаю: «Ну как опять покажется?» Выехал я на Зеленый скат, а там, я знал, рубил бревна один мой земляк. Я и постучал к нему в шалаш, чтобы пустил меня переночевать до утра. Что ж бы вы думали, он мне ответил? Он сказал: «Ездил бы днем, как добрые люди, так не пришлось бы на ночлег проситься». «Это-то я и сам знаю, Пер», — говорю я ему. Так он и не пустил меня. Я догадался, что тот уж побывал здесь и напугал Пера. Делать нечего, выехал я да и затянул во все горло песенку: «Дитя, дитя, превесело»... И только в долине Стуб нашел я ночлег, но тогда уж и ночь-то была на исходе.







### Знахарка

В сторонке от проезжей дороги, в одном из средних поселков в долине Гудбранд, стояла несколько лет тому назад на небольшом пригорке избушка. — А может быть, и теперь еще там стоит. — Был апрель месяц; погода установилась тихая, ясная, снег таял, по всем скатам сбегали вниз ручейки, поля начинали оголяться; в лесу перебранивались дрозды; в рощах не умолкало щебетанье птиц, все говорило о ранней весне. В голых ветвях березы и рябины, торчавших над крышей хижины, перепархивали, греясь на солнышке, веселые синички; на самой верхушке березы заливался зяблик.

Внутри, в курной избушке без потолка, было мрачно, неуютно. Баба средних лет с простоватым выражением лица разводила огонь на низеньком очаге, подкладывая щепочки и сырые поленья под кофейный котелок. Когда это, наконец, удалось ей, она отерла от сажи и золы свои больные от дыма глаза и заговорила:

— Люди говорят, что заговор и литье потому тут не помогают, что не в порче тут дело, а просто это подкидыш. Днем заходил ко мне скорняк; он то же самое сказал, а он еще мальчиком видал в Рингебю такого подкидыша; тоже, говорит, почитай был без костей и мягкий такой.

Озабоченное выражение лица показывало, как глубоко запали слова скорняка в ее суеверную душу.

Женщине, к которой она обращалась с речью, было на вид около шестидесяти. Она отличалась крепким сложением и необыкновенно высоким ростом; когда она сидела, рост ее, однако, сильно скрадывался, и она совсем не казалась высокой. Этой особенностью она была обязана своим необычайно длинным ногам. Недаром же к ее имени Губер прибавлено было прозвище «длинноногая». Седые волосы выбивались из-под белого головного убора, обрамлявшего темное лицо с густыми бровями и длинным горбатым носом. Выражение умственной ограниченности, которое вообще придавали лицу низкий лоб и широкие скулы, шло вразрез с несомненной пронизательностью и смысленностью, светившимися в ее маленьких бегающих глазках, и с чисто мужицкой плутоватостью, игравшей в ее улыбке. Костюм ее обладал жителям более северных областей, а все манеры и приемы знахарку.

Пока баба-хозяйка возилась с кофейным котелком, Губер покачивала рукой колыбель, в которой лежал хилый болезненный ребенок; на слова женщины она ответила спокойно и с достоинством, хотя блеск глаз и подергиванье мускулов около рта и показывали, что она весьма не одобряет приговора скорняка.

— Мало ли чего говорят люди! — начала она. — Говорят, чего сами не знают, милая Марита. На ветер брешут. А скорняк твой, может, и знает толк в кожах, а в болезнях да в подкидышах ничего не смыслит. Это я тебе говорю и ручаюсь. Уж я-то знаю; нагладелась на подкидышей. Тот подкидыш, о котором он говорит, должно быть, был у Бриты Брискебротен из Фрона; я его помню. Заполучила она его вскоре после замужества, а сначала-то у нее был славный ребенок, да вот тролли и подменили его своим отродьем, злющим-презлющим. Не говорил ни слова, а только ел да орал. У нее же духу не хватало бить его. Наконец-то уж ее надоумили, как сделать, чтобы он заговорил; ну, и увидала, кого растит у себя. Она обругала его чертовым отродьем, велела ему убираться в преисподнюю, откуда пришел, взяла метлу и принялась хлестать его по ушам. Вдруг дверь как распахнется, и кто-то вошел, — кто — она не видала, — схватил подкидыша, а ее настоящего ребенка швырнул на пол так, что он заплакал. — Или, может быть, скорняк говорил про Сири Стремхуггет? У этой тоже был подкидыш; сморщенный, высохший такой; точно без костей весь. Но он столько же был похож на твоего ребенка, сколько на мою старую шапку. Я его хорошо помню. Это было, когда я служила у пономаря. Помню, как она и заполучила его, как и отделалась от него. Тогда об этом много разговору было. Когда Сири была молоденькой, она служила в Кваме; а я ее помню еще с того времени, когда она жила дома у родителей. Потом она вышла замуж

за Олу в Стремхугтет. Вскоре после того, как у нее явился первый ребенок, лежит она раз в постели, вдруг входит какая-то незнакомая баба, берет ее ребенка, а вместо него кладет другого. Сири привсталла, хотела отнять своего ребенка, да сил не хватило. Хотела крикнуть мать свою, которая вышла, и не могла рта раскрыть от страха. Так она напугалась, так напугалась, что хуже и нельзя, хоть бы над ней с ножом стояли. А что она получила подкидыша, так это ясно было видно: совсем не такой, как другие дети, все только орет, точно его режут, да шипит, да кусается, как дикая кошка, а с виду хуже смертного греха! И обжора ужасный! Мать не знала, как и быть с ним, как и отделаться от него; посоветовалась со знахаркой, а та-то уж свое дело знала, понятно. Велела она Сири положить ребенка в четверг вечером на сорную кучу и хорошенько высечь березовой розгой, да так три четверга кряду. Сири так и сделала, и на третий вечер из овина выбежала баба, бросила ребенка Сири на сорную кучу, а своего подхватила, да так ударила Сири по рукам, что у нее и до сих пор знаки остались. Я их собственными глазами видела! — прибавила знахарка для вящей достоверности рассказа. — А этот ребенок у тебя такой же подкидыш, как я. Да и когда и как могло бы это случиться, чтобы они подменили тебе ребенка?

— То-то я и сама не пойму! — простодушно отозвалась баба-хозяйка. — У меня в колыбельке всегда была бобровая струя<sup>1</sup>, и окуривала я его беспрестанно и крестила, и на рубашонке у него пряжка была, и ножик всегда у дверей торчал, так и ума не приложу, как они могли подменить.

— Да и не могли, вот тебе крест! Я-то уж знаю! — опять заговорила знахарка. — Вот там, в поселке близ Христиании я знавала одну женщину. У нее был ребенок, и она уж так носилась с ним, так носилась, и крестила его и обкуривала всячески, потому что там у них больно нечистое место было — господи спаси мой язык! Но вот раз ночью лежит она на постели с ребенком, а муж напротив. Вдруг он просыпается и видит — в горнице вспыхнул словно красноватый огонек, как будто кто разгреб уголья на шестке. Так и есть. Как глянул муж туда, так и увидел там старика: сидит у печки и уголья разгребает. Уродливый такой, страшный, с длинной бородой. Когда в горнице стало посветлее, он и давай тянуться руками к ребенку, да не мог достать до него из своего угла, хоть руки-то у него и вытянулись до самой середины горницы. Так и не достал, а долго старался. А мужа той женщины такой страх взял, что он ни жив ни мертв лежал. И вдруг слышит за окном голос: «Пер, скоро ты?».

«Ах, заткни глотку! — отвечает старик, что сидел у печки. — Тут так постарались над ребенком, что я поделать ничего не могу!»

<sup>1</sup> Считается универсальным средством против всякого рода нечистой силы, колдовства, порчи, лихого глаза и проч. (*примеч. переводчика*).

[*Бобровая струя (кастореум)* — ароматическое вещество, вырабатываемое железами бобров (*примеч. ред.*).]





*...и хорошенько высечь березовой розгой, да так три четверга кряду.*

«Ну, так выходи сам!» — отозвалось за окном. Это была баба старика, которая поджидала его с ребенком.

— Нет, ты взгляни только на этого славного парнишку! — сказала вдруг вкрадчиво знахарка и вынула из колыбели проснувшегося ребенка, который сопротивлялся ласкам незнакомой женщины и собирал губы в гримасу в ответ на ее слащавые ужимки. — Он такой беленький, чистенький, как херувимчик. Кости у него мягковаты, это правда, но сказать, что это подкидыш!.. Врут они все, кто говорит это, вот тебе бог! Это просто «порча»! — сказала она убежденным тоном.

— Тс! Тс! Кажется, кто-то стучит в дверь! Ох, господи, вдруг это муж вернулся! — сказала баба, испугавшись, что муж застанет ее распивающей кофе со знахаркой, кинулась к двери, растворила и выглянула. Но на крылечке сидела только пестрая кошка и чистила свои лапки после весенней охоты в ольховой рощице. Стучал же дятел, лепившийся по солнечной стене избушки и долбивший ее клювом, выпугивая из щелей сонных насекомых. Он ежеминутно вертел головой, точно высматривая кого, на самом же деле поджидал только апрельского дождичка.

— Кто там? — спросила знахарка и, узнав, что никого нет, продолжала: — Оставь дверь отворенной, тогда к нам будет светить солнышко и мы увидим твоего мужа, когда он станет подъезжать. Он ведь с той стороны вернется?

— Он отправился с санками за прошлогодним листом для коз! — ответила баба. — Боюсь, как бы он не застал нас тут. В последний раз, когда он узнал, что ты тут была у меня, он так осердился, что просто страсть. Сказал, что лучше даст мне немножко денег, чтобы я могла пойти с ребенком к доктору. А наговоров и всякого колдовства он знать не хочет, — учен больно. Ни во что такое не верит с тех пор, как стал водиться с Иоганессеном, школьным учителем.

— К доктору! Тьфу! — отплюнулась знахарка. — Да разве беднякам ходить по докторам? Приди-ка к нему без дорогих подарков, он накинется точно на собак, а не на людей. Помнишь, что было с Гертрудой Костебакен, когда она лежала при смерти после родов? Небось не хотел ехать к бедной бабе — в гостях пировал у судьи! Уж припугнули его епископом, тогда только поехал. Да поздно — Гертруда-то кончилась. Нет, тащить такого младенца к доктору! Да помилуй и спаси бог!.. Но мне-то, впрочем, ступай себе! — насмешливо прибавила она. — Но если только он поможет хоть на волос — пусть мне никогда больше не вылечит никого на этом свете! Не смыслят они ничего в порче; об ней в книжках не пропечатано, они и не знают против нее средств. Оттого и не дают ни порошков, ни травы, — знают, что толку не будет. Нет, тут надо заговорить да олово вылить!..

— Давай же мне ложку для литья, — начала она уже другим тоном, — пора; к полудню дело. Мы лили два раза, так надо и третий, а то еще хуже выйдет. У ребенка порча, только их ведь девять сортов. Да-да, я уже сказала

тебе, и ты сама видела, что ни тролли, ни водяные тут ни при чем. В первый четверг вышел у нас человек с рогами и хвостом. Это тролль; значит, он не виноват. А в последний раз вышла водяница. Ты сама своими глазами видела. Значит, порча и не от них. Теперь у нас опять четверг; что-то выйдет? Теперь уж скажется, кто причиной. На вот, возьми ребенка, — сказала она, отдавая его бабе, — а я выпью кофейку, да и за дело.

Когда кофе был выпит и разбитая чашка с заклепкой отодвинута с обычными благодареньями в сторону, знахарка подошла к печке и задумчиво достала из-за пазухи рожок, заменявший табакерку.

— В последний четверг олово-то у нас все вышло, так я в семи приходах побывала, да наскобила олова с церковных окон, и все в полночь. Это и для души, и для тела хорошо, — пробормотала она, высыпая из рожка в ложку немножко олова, с таким трудом добытого ею, по ее словам.

— А ты запаслась в полночь водой из ручья, что течет на север? — спросила она затем бабу.

— Да-да, вчера в полночь ходила к мельничному ручью; другого поблизости нету, — ответила баба и достала тщательно закрытое крышкой ведро, из которого налила воды в жбан. Последний вместо крышки был прикрыт ломтем хлеба, в котором штопальной иглой проткнули дырочку. Когда олово растопилось в ложке, знахарка подошла к порогу, повернулась лицом к солнцу, потом взяла и медленно вылила олово сквозь дырочку в ломте хлеба в жбан с водой, бормоча следующий заговор:

Как обман я маню, злую порчу маню,  
Я маню ее вон, я маню ее прочь,  
Я на ветер маню и на темную ночь,  
Я на север маню, я маню и на юг,  
Я на запад маню, я маню на восток,  
В воду, в землю маню и в сыпучий песок,  
Я в коренья маню, в жеребенка маню,  
В преисподню маню, в сатанинский огонь;  
Пусть там сушит, крушит,  
От ребенка бежит!

Горячее олово, понятно, шипело и брызгало в воде.

— Слышишь, колдовство-то как выходит? — сказала знахарка бабе, которая с боязливым благоговеньем прислушивалась к ее речам, держа ребенка на руках. Когда ломоть хлеба был снят, в воде оказались две фигурки из олова. Знахарка долго и сосредоточенно их рассматривала, склонив голову набок, потом кивнула головой и сказала:

— Ну да, так и есть, эту порчу напустили мертвецы. Теперь я вижу, как все вышло; сейчас скажу тебе! Сперва вы ехали лесом и мимо горы в такое время, когда тролли гуляют, и ты сотворила молитву над ребенком. Потом переезжали по воде, и тут ты призвала имя Иисуса, а потом ехали мимо кладбища,



когда петухи еще не пели, а ты позабыла про это, вот мертвецы и испортили твоего ребенка.

— Господи Иисусе, ведь это все так до капельки и было; откуда же ты знаешь? — с изумлением воскликнула баба. — Когда мы ехали домой с сэтера, смеркалось уже, — мы замешкались, разыскивая овец. В лесу мне раз показалось, блеснул огонек; потом точно что хлопнуло в горе, как будто ворота растворились, — а там, говорят, тролли водятся, — я и сотворила над ребенком молитву. Потом, как переезжали через реку, услышала я такой нехороший крик и тоже прочитала над ребенком молитву. А другие сказали, что это кайра к непогоде раскричалась.

— Да-да, довольно, если и кайра крикнет! — сказала знахарка. — Стоит ей крикнуть над ребенком, порча и готова.

— Я это тоже слыхала, — ответила баба и продолжала: — А как ехали мимо кладбища, была полночь; тут у нас вол и взбесись, взбодоражил весь скот на соседнем дворе, поднялась суматоха, я и позабыла перекрестить ребенка.

— Да-да, вот они и напустили на него порчу! Гляди сама в жбан. Видишь, гроб и колокольня, а в гробу-то покойник и пальцы растопырил! — зловещим тоном истолковывала знахарка значение таинственных фигурок из олова. — Да-да-да, средство-то есть... — пробормотала она затем как бы про себя, но настолько громко, чтобы баба могла слышать.

— Какое же? — радостно и любопытно спросила та.

— Есть средство... хоть дорого стоит, зато помогает! — сказала знахарка. — Я сверну из тряпья спеленутого ребенка и закопаю его на кладбище. Они и подумают, что таки оттягали себе ребенка. Вот тебе бог, подумают. Да надо еще серебра мне... Есть у тебя старинное, дедовское?

— Есть, есть несколько серебряных марок, которые мне еще на зубок положили. Я все берегла их, не трогала, да уж коли тут о жизни дело, пусть!.. — сказала баба и полезла в сундук.

— Да-да! Один я закопаю в горе, другой брошу в воду, а третий закопаю на кладбище, где ребенок порчу схватил. Три монеты мне надо! — сказала знахарка. — Да тряпья давай, куклу свертеть.

Требуемое было ей дано; куклу в виде спеленутого младенца свертели живо, знахарка взяла ее под мышку, посох в руки, встала и сказала:

— Сейчас пойду на кладбище и закопаю ее. Через два четверга на третий приду опять. Коли ребенку жить, так ты увидишь себя в его глазах, а коли умереть, ничего не увидишь, черно будет. А с кладбища отправлюсь в Иорамо. Давно там не была, за мной уж посылали... У ребенка тоже порча, да простая, от троллей. Пустяки с ней справиться: провести ребенка против солнца по дерну, и все.

— Вот как! — удивленно отозвалась баба. — Иорамо? Это в Лессе? Господи, вот даль-то!

— Далеконько, зато там я родилась и выросла! — сказала знахарка. — Много я ходила, да мало выходила с тех пор, как не бывала там. Да, не те уж



...куклу в виде спеленутого младенца свертели живо,  
знахарка взяла ее под мышку, посох в руки...

нынче времена для старухи Губер! — вздохнула она и присела на скамейку. — Вот там, в Иорамо, так был раз подкидыш, — продолжала она, обратившись мыслями к прошлому и припомнив слышанное ею в детстве предание. — У прабабки моей тетки, — она жила в Иорамо, — был подкидыш. Я его не видала, и самой бабки уж давно в живых не было, когда я родилась, но мать моя часто рассказывала об этом. С лица этот подкидыш был настоящий старик, а глаза красные, как у плотвы, и в темноте таращился, как филин. Лицо у него было длинное, точно лошадиная морда, а голова толстая, что кочан капусты, ножки чисто овечьи, а тельце как старое копченое мясо. И все-то он вопил да кричал, а дадут что-нибудь в руки, сейчас в лицо матери запустит, и вечно голодный, как волк. Все бы так и сожрал, что увидит; объедал всю семью. И чем дальше, тем хуже становился, никакого сна с ним не было, орет, вопит, а говорить ни слова не говорит, как ни бились с ним; по годам-то уж пора было бы. Измаялись с ним родители так, что и сказать нельзя. Советовались со всеми так и сяк. Да у матери все не хватало духа бить и ругать его, пока она не увидала своими глазами, что это подкидыш. Один человек посоветовал ей сказать, что король придет, а потом развести большой огонь на очаге, разбить яйцо, подвесить скорлупу над огнем и просунуть в трубу большой шест. Вот она так и сделала да вышла за дверь, а сама в щелочку глядит, что будет. Подкидыш все таращился, таращился, а как вышла она за дверь, перекинулся руками из люльки, а ноги-то там остались, и стал тянуться к печке... тянулся, тянулся, длинный такой вытянулся, до самой печки, и говорит:

«Сколько лет живу, а такой большой мешалки и такого маленького котелка не видывал в Иорамо».

Тут баба и узнала, что это подкидыш. Вошла она в избу, а тот уж опять съехался в люльку, как червяк. После того стала она с ним худо обходиться; в четверг вечером взяла его, бросила на мусорную кучу и отодрала его, а возле нее кто-то хохочет да искры сыплет. И в следующий четверг она так же сделала... Всыпала ему сколько следует и вдруг слышит как будто голос собственного ребенка: «Ты тут колотишь Тестуля Гаутстигана, а они за то меня колотят в горе».

Все-таки в следующий четверг она опять принялась сечь подкидыша. Вдруг как примчится, словно ее кипятком ошпарили, баба с ребенком.

«Поддай мне назад Тестуля, вот тебе твой щенок!» — крикнула она и швырнула матери настоящего ребенка. Мать протянула руки, чтобы подхватить его, и поймала за одну ногу, да только всего и было: черная баба такхватила ребенка оземь, что от него ничего и не осталось.

Во время рассказа знахарки на лице бабы вдруг появились несомненные признаки страха; чем дальше, тем больше, и под конец даже рассказчица, увлеченная своими воспоминаниями, не могла не обратить на них внимания.

— Что там?... А, муженек едет! — промолвила она, поглядев в дверь, и торжественно прибавила: — Нету у вас пристанища для старухи Губер! Но не бойся! Я пройду кладбищем, и он меня не увидит!





### Угольщик

Жил-был угольщик, а у него был сын, тоже угольщик. Когда отец умер, сын женился, но дело у него все из рук валялось, — хил он был; под конец никто и не нанимал его в угольщики. Но вот раз все-таки дали ему сжечь один костер, наложил он угольев в мешки и повез в город продавать. Продав и стал шляться по городу. Повстречался с соседями по деревне, затесался в их компанию и загулял с ними. Стали они калякать о том о сем, стал и угольщик рассказывать, чего навидался в городе. Больше всего понравилось ему то, что здесь много пасторов и все им кланяются, ломают перед ними шапки.

— Вот бы мне быть пастором! Авось тогда и мне бы всякий кланялся, а теперь никто и не глядит на меня.

— Да что ж! За чем дело стало? — говорят ему соседи. — Черен ты достаточно, пойдем на аукцион, что идет там после старого пастора, мы выпьем, а ты себе купи, что нужно.

Так и сделали, и вернулся угольщик домой без гроша.

— Ну, принес съестного и денег? — спрашивает жена.

— Теперь у нас все будет, хозяйшук! — говорит угольщик. — Я стал пастором. Видишь, и воротник, и платье.

— Вижу, вижу, что от крепкого пива язык разгулялся! — говорит жена.

Вот раз и видит он — мимо их дома едет к королю во двор толпа пасторов. Что бы это значило? Надо и ему туда же! Стал он наряжаться в пасторское платье, а жена все отговаривает его. Лучше, дескать, дома остаться, а то много-много придется ему лошадь поддерживать какому-нибудь важному барину да грош заработать. И тот ему в глотку пойдет!

— Все говорят о питье, а никто не вспомнит о жажде, жена! — говорит угольщик. — Чем больше пьешь, тем больше пить хочется! — и отправился-таки на королевский двор. Там всех приезжих пасторов пригласили к самому королю. Пошел с ними и угольщик. Пришли они, а король им и говорит, что пропал у него самый дорогой перстень, — украли, должно быть; вот и созвал он всех пасторов, — они народ ученый, так не смогут ли указать ему вора. Кто укажет, получит большую награду: если он еще без прихода, так получит; если простой пастор, будет сделан пробстом, если пробст — епископом, если епископ — самым важным лицом после короля. Стал король обходить и всех опрашивать. Дошел до угольщика.

— Ты кто такой? — спрашивает король.

— Я мудрый пастор и провидец! — говорит угольщик.

— А коли так, так укажи мне вора! — говорит король.

— Оно, конечно, нет ничего тайного, что не стало бы явным! — говорит угольщик. — Да только вот я семь лет корплю над книгами, а прихода все нет, как нет. Коли вора найти, надо много бумаги извести, да и время надо немалое.

Дали ему и время, и бумаги, сколько душе угодно, только бы нашел вора.

Пришел он в свой покой, что отвели ему во дворце, и скоро все увидали, что он не простой пастор, знает побольше других, — такую гору исписал бумаги, страсть! Да и прочесть-то никому не под силу, такие мудреные закорючки да завитушки. Только время идет, а вора он все не указывает. Надоело это королю, он и объявил угольщику, что если он не сыщет вора в три дня, не сносить ему головы.

— Поспешить, только людей насмешить! Нечего выгребать уголья, пока дрова не сгорели! — говорит угольщик. Но король и слышать ничего не хотел. Понял тут угольщик, что дело плохо.

Прислуживали угольщику по очереди три лакея, и эти-то трое как раз сообщая и украли перстень. Вот пришел первый из них убирать со стола после ужина, а угольщик поглядел на него, покрутил головой, вздохнул и говорит:

— Вот уж один!

Это он хотел сказать, что вот уж один день из трех прошел, а слуга-то подумал, что пастор про него говорит.

— Ну, братцы, этот пастор не только пить да есть мастер! — сказал слуга товарищам и рассказал им, что сказал про него пастор.

На другой день другой лакей так и ждет, не скажет ли пастор и про него. И впрямь, собрал слуга со стола после ужина, а пастор уставился на него, вздохнул так глубоко-глубоко и говорит: — Вот и второй!





— Я стал пастором. Видишь, и воротник, и платье.



Третий слуга тоже насторожился — что скажет пастор. И с этим вышло не лучше, а еще хуже. Уходит он в дверь с посудой после ужина, а пастор сложил руки и говорит:

— Вот и третий! — да вздохнул так глубоко, так горько, точно сердце у него разрывалось.

Пришел тот слуга ни жив ни мертв к товарищам и говорит, что дело ясно, пастор все знает. Пошли они к нему все трое, пали перед ним на колени и давай молить, чтоб он не выдавал их; сулили ему каждый по сто далеров, —



только не губи. Он и пообещал им покрыть их воровство, если они сейчас же принесут ему по сто далеров, перстень да горшок каши. Те принесли. Замесил он перстень в кашу, велел слугам скормить кашу самому большому борову в королевском хлеву да следить, чтобы он не выбросил изо рта перстня, а проглотил.

Утром явился к угольщику король и грозно так спрашивает, нашел ли он вора.

— Да уж пришлось пописать да поискать! — говорит угольщик. — Только вор-то не человек.

— А кто же? — удивился король.

— Да твой собственный боров! — говорит угольщик.

Взяли они борова, зарезали его и, правда, нашли в нем перстень. Обрадовался король, дал угольщику приход, подарил ему лошадь, дом и сто далеров в придачу. Угольщик мешкать не стал, живо перебрался на новоселье и зажил припеваючи.

И вот случилось, что у короля с королевой все не было детей, а тут вдруг явилась надежда, что будут. И королю страх захотелось узнать, кого ему ожидать — наследника всему государству или только принцессу. Созвали со всего царства ученых и докторов, чтобы они сказали это королю, но никто из них не мог. Вспомнили тогда король с епископом об угольщике, живо призвали его во дворец и стали спрашивать. Но и он не мог ничего сказать.

— Да и как знать вперед то, чего никому знать не дано! — сказал он.

— Да-да, — сказал король, — мне-то все равно, можешь ты сказать мне это или нет, но раз ты ученый пробст и провидец, так и говори, а не то



и воротник долой. Только сперва я тебя еще испытаю! — И король взял самую большую из своих серебряных кружек, пошел на берег, вернулся, показал угольщику закрытую кружку и сказал: — Ну, коли узнаешь, что у меня в кружке, так сумеешь узнать и другое.

Угольщик заломил руки и застонал:

— Ах, ты несчастная тварь, ползай, не ползай теперь, — крышка тебе за все твои старания!

— Ну, вот видишь! Ты все знаешь! — сказал король и поднял крышку, а в кружке-то у него сидел краб.

После того угольщика повели в залу, посадили на стул, а королева стала прохаживаться перед ним взад и вперед.

— Да, не ставь нового стойла, пока корова не отелится, не спорь об имени, пока дитя не родится! — сказал угольщик. — Но тут что-то невиданное, неслыханное: когда королева идет ко мне, то сдается мне, что будет принц, а когда от меня, что принцесса.

И тут он угадал, потому что явились близнецы — принц и принцесса. И за то, что он узнал то, чего никому не дано знать, дали ему целый воз денег и сделали первым лицом после короля. Вот он чем стал, — и не думал, не гадал!



## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие .....	6
Сочельник в старину .....	9
Два мальчугана и три тролля .....	21
Рассказы охотника Матиаса .....	25
Озе-Гусятница .....	31
Парнишка и черт .....	34
Как муж хозяйничал .....	36
Бакланы .....	41
Великан, у которого сердце было не при себе .....	46
Блин .....	52
Глухариный ток в Голейе .....	55
Лопотун-Гусиное яйцо .....	71
Седьмой хозяин в доме .....	82
Рассказы старухи Берты .....	86
Кузнец, которого побоялись впустить в ад .....	97
Три козла .....	103
Пер Гюнт .....	106
Мишка косолапый .....	111
Поверья о мельничных троллях .....	113
О парнишке, который требовал с северного ветра свою муку .....	122
Заячий пастух .....	126
Ловля макрели .....	134
Пейк .....	144
Глупые мужья и бедовые бабы .....	150
Пастор и пономарь .....	153
Великан и Иоганн Блессом .....	155
Сундучок с кладом .....	157
Сын вдовы .....	158
На восток от солнца, на запад от месяца .....	165
Замарашка, который перещеголял во лжи принцессу .....	176
Вечер в кухне у помещика .....	179
Тириганс, который рассмешил принцессу .....	192
Летняя ночь в Кругском лесу .....	197
Знахарка .....	208
Угольщик .....	217

# Петер Асбьёрнсен

## НОРВЕЖСКИЕ СКАЗКИ

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Том 269

На основании п. 2.3 статьи 1 Федерального закона № 436-ФЗ от 29.12.2010 не требуется знак информационной продукции, так как данное издание классического произведения имеет значительную историческую, художественную и культурную ценность для общества

Компьютерная верстка,  
обработка иллюстраций,  
дополнительные комментарии  
*В. Шабловского*

Дизайн обложки,  
подготовка к печати  
*А. Яскевича*

Сдано в печать 13.05.2024  
Объем 14 печ. листов  
Тираж 3000 экз.  
Заказ №

Бумага  
Сыктывкарская книжная кремовая офсетная 60 г/м<sup>2</sup>



ООО «СЗКЭО»  
Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 365-40-44  
E-mail: [knigi@szko.ru](mailto:knigi@szko.ru)  
Интернет-магазин: [www.szko.ru](http://www.szko.ru)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами  
в ООО «ИПК Парето-Принт»,  
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,  
комплекс № 3А, [www.pareto-print.ru](http://www.pareto-print.ru)



Петер Кристен Асбьёрнсен (1812–1885), сын простого ремесленника, родился в Христиании и вырос в атмосфере, насыщенной сказками, преданиями и поверьями, — мать его была чрезвычайно суеверна, верила в привидения, леших, гномов и прочих сверхъестественных существ. В то время низшие классы населения даже в столице были поголовно заражены суеверием. Асбьёрнсен рассказывает в своих воспоминаниях, например, что в одном знакомом ему семействе нарочно ложились спать несколькими часами раньше других людей, «чтобы не беспокоить домового».

Готовясь к поступлению в университет, Асбьёрнсен познакомился с Йоргеном Му, подружился с ним, и дружба эта стала еще теснее, когда их связало общее увлечение собиранием и

записыванием памятников народной поэзии и суеверий. Окончив университет и живя домашним учителем в провинции, Асбьёрнсен все свободное время бродил по окрестным селениям, пополняя свои материалы.

Йорген Энgebретсен Му (1813–1882), сын крестьянина, родился близ Христиании. Своеобразная красота родных мест рано залегла в его душу, и он часто воспевал ее впоследствии. Его отличительными чертами были кротость и какая-то необыкновенная твердая, спокойная уверенность, привлекавшая к нему всеобщие симпатии. На нем как бы отразилась окружающая его с детства величавая, мирная горная природа. Первоначальное образование Му получил в простой народной школе; на блестящие способности мальчика обратили внимание и отец решил дать ему возможность подготовиться к поступлению в университет. Как и Асбьёрнсен, Му все свое свободное время посвящал изучению народной поэзии и собиранию ее памятников.

Асбьёрнсен и Му так дружно работали вместе во имя любимой идеи, что заслуги их остаются нераздельными. Главное значение их труда было в том, что в нем впервые проявился неподдельный, истинно национальный народный элемент, ставший сокровищницей, из которой молодая норвежская литература могла черпать множество образов и колорит.

Предлагаемые норвежские сказки перевели на русский язык супруги Анна Васильевна Ганзен (1869–1942) и Петр Готфридович Ганзен (1846–1930). Сто четырнадцать рисунков в книге выполнили норвежские художники Петер Николай Арбо (1831–1892), Эрик Теодор Вереншёль (1855–1938), Ханс Фредрик Гуде (1825–1903), Карл Рейнгольд Калмандер (1840–1922), Теодор Северин Киттельсен (1857–1914), Винсент Столтенберг Лерхе (1837–1892), Ялмар Эйлиф Эммануэл Петерссен (1852–1928), Отто Людвиг Синдинг (1842–1909), Адольф Тидеман (1814–1876) и Герхард Август Шнайдер (1842–1873).

